

# АЙЗЕК АЗИМОВ

Премии HUGO, NEBULA, LOCUS

18+

## САМИ БОГИ

Самое масштабное и эффектное из всего,  
что я когда-либо придумал. АЙЗЕК АЗИМОВ

Гроссмейстер фантастики

Айзек АЗИМОВ

**Сами боги**

«ЭКСМО»

1972

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

**Азимов А.**

Сами боги / А. Азимов — «Эксмо», 1972 — (Гроссмейстер фантастики)

ISBN 978-5-04-178960-2

Премии «Хьюго», «Небьюла», «Локус», «Дитмар». Финалист премии «Локус» в номинации «Лучший роман всех времен». «Против глупости сами Боги бороться бессильны». Фридрих Шиллер В двадцать втором веке Земля получает безграничную, бесплатную энергию из источника, природу которого ученые не могут объяснить: инопланетная разработка по обмену энергией с параллельной вселенной. Но все имеет свою цену. Сам процесс переноса приведет к разрушению Солнца — и самой Земли. Лишь немногие знают ужасающую правду — земной ученый-изгой, инопланетянин с умирающей планеты и человек, родившийся на Луне, который интуитивно чувствует неминуемое уничтожение Солнца. Они знают правду и у них есть ключ к спасению Земли, но кто будет их слушать, кто им поверит? «Самое большое и эффектное из всего, когда-либо придуманного мною». Айзек Азимов «Лучшее творение гения». The Encyclopedia of Science Fiction «Азимов никогда не опускался ниже уровня совершенства». Мартин Эмис

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-178960-2

© Азимов А., 1972

© Эксмо, 1972

# Содержание

Часть I	6
Глава 6[1]	6
Глава 1	7
Глава 6 (продолжение)	11
Глава 2	12
Глава 3	17
Глава 6 (продолжение)	20
Глава 4	21
Глава 5	27
Глава 6 (окончание)	33
Глава 7	36
Глава 8	41
Глава 9	44
Глава 10	47
Часть II	50
Глава 1a	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

# Айзек Азимов

## Сами боги

*Посвящается Человечеству в надежде, что война с  
безрассудством все-таки будет выиграна.*

Isaac Asimov  
THE GODS THEMSELVES

Copyright © 1972 by Isaac Asimov

© Гурова И., перевод на русский язык. Наследник, 2023  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2023

## Часть I

### Против глупости

#### Глава 6<sup>1</sup>

– Без толку! – резко бросил Ламонт. – Я ничего не добился.

Лицо его было хмурым. Оно и всегда казалось насупленным из-за глубоко посаженных глаз и чуть скошенного набок подбородка. Даже когда он был в хорошем настроении. Но сейчас его настроение никак нельзя было назвать хорошим. Второй официальный разговор с Хэллемом завершился еще большим фиаско, чем первый.

– Не впадай в мелодраму, – вяло посоветовал Майрон Броновский. – Ты ведь ничего другого и не ждал. Сам же говорил.

Он подбрасывал вверх ядрышки арахиса и ловил их пухлыми губами. Прodelывал он это очень ловко – ни одно ядрышко не пролетало мимо. Броновский был не слишком высок и не очень строен.

– Так что же, мне теперь радоваться? Впрочем, ты прав – это значения не имеет. У меня есть другие средства, и я намерен к ним прибегнуть, а кроме того, я рассчитываю на тебя. Если бы тебе удалось...

– Не продолжай, Питер! Все это я уже слышал. От меня требуется всего лишь расшифровать мыслительные процессы внеземного разума.

– Но зато высокоразвитого! И ведь они там у себя, в паравселенной, явно добиваются, чтобы их поняли.

– Возможно, – вздохнул Броновский. – Но посредником-то служит мой разум, и хотя я считаю, что он, конечно, развит неимоверно высоко, однако все-таки не настолько. Ночью, когда не спится, меня начинают одолевать сомнения: а способны ли вообще разные типы разума понять друг друга? Ну а если день выдался особенно скверный, то мне и вовсе мерещится, что слова «разные типы разума» не имеют ни малейшего смысла.

– Как бы не так! – свирепо сказал Ламонт, и его руки в карманах лабораторного халата сжались в кулаки. – Хэллем и я – вот тебе эти типы. То есть прославленный дурак доктор Фредерик Хэллем и я. И вот тебе доказательство: он попросту не понимает того, что я ему говорю. Его тупая физиономия багровеет еще больше, глаза вылезают на лоб, а уши глохнут. Я бы сказал, что его рассудок перестает функционировать, но у меня нет никаких оснований предполагать, что он вообще функционирует.

– Ай-ай-ай! Разве можно говорить так про Отца Электронного Насоса? – пробормотал Броновский.

– То-то и оно! Псевдоотец! Уж если кто тут ни при чем, так это он. Его вклад был минимальным. Я-то знаю.

– И я знаю. Ты мне это без конца твердишь! – Броновский подбросил очередное ядрышко. И опять не промахнулся.

---

<sup>1</sup> Повествование начинается с главы 6. Это не ошибка. У меня есть на то свои глубокие причины. А потому спокойно читайте и (надеюсь) получайте удовольствие.



## Глава 1

За тридцать лет до этого разговора Фредерик Хэллем был заурядным радиохимиком. Его диссертационная работа еще пахла типографской краской, и ничто в нем не свидетельствовало о таланте, способном потрясти мир.

А потрясение мира началось, собственно, с того, что на рабочем столе Хэллема стояла запыленная колба с ярлычком «Вольфрам». Ее поставил сюда не он. Он даже никогда к ней не прикасался. Она досталась ему в наследство от прежнего владельца кабинета, которому когда-то бог весть по какой причине понадобился вольфрам. Да и содержимое колбы уже, собственно говоря, перестало быть вольфрамом. Это были серые запыленные крупинки, покрытые толстым слоем окиси. Их давно пора было выбросить.

И вот однажды Хэллем вошел в лабораторию (ну да, это произошло 3 октября 2070 года) и приступил к работе. Около десяти часов он поднял голову, уставился на колбу и вдруг схватил ее. Пыли на ней не стало меньше, выцветший ярлычок нисколько не изменился, но Хэллем тем не менее крикнул:

– Черт подери! Какой сукин сын трогал эту колбу?

Так, по крайней мере, утверждал Денисон, который слышал этот вопль и много лет спустя поведал о нем Ламонту. Парадный рассказ об обстоятельствах замечательного открытия, запечатленный во множестве книг и учебников, этой фразы не содержит. Перед читателем возникает образ проникательного химика, который орлиным взором сразу же подметил изменения и мгновенно сделал далеко идущие выводы.

Куда там! Хэллему вольфрам был не нужен, он его совершенно не интересовал. И, в сущности, ему было все равно, трогал кто-то колбу или нет. Просто он (подобно многим другим людям) терпеть не мог, когда на его столе хозяйничали без его ведома, и всегда готов был заподозрить окружающих в таких посягательствах, продиктованных исключительно желанием ему насолить.

Но в покушении на колбу никто не признавался. Бенджамин Аллан Денисон услышал возглас Хэллема потому, что сидел в кабинете напротив лицом к открытой двери. Он поднял голову и встретил сверлящий взгляд Хэллема.

Хэллем не внушал ему особых симпатий (впрочем, он никому их не внушал), а в то утро Денисон плохо выспался и – как он вспоминал впоследствии – был даже рад сорвать на ком-нибудь свое дурное настроение. Хэллем же был для этого идеальным объектом.

Когда Хэллем поднес колбу к самому его лицу, Денисон безразлично отстранился.

– На какого дьявола мне понадобился бы ваш вольфрам? – спросил он саркастически. – Да и кому он вообще нужен? Если бы вы посмотрели на колбу повнимательнее, то заметили бы, что ее уже лет двадцать никто не открывал и что единственные следы на ней – от ваших же лап.

Хэллем побагровел. И сказал, еле сдерживаясь:

– Слушайте, Денисон. Кто-то подменил содержимое. Это не вольфрам.

Денисон позволил себе негромко фыркнуть.

– А вы-то почему знаете?

Вот из таких пустяков – мелочной досады и бесцельных уколов – рождается история.

Такой выпад не мог бы пройти бесследно при любых обстоятельствах. Академические успехи Денисона, который, как и Хэллем, еще совсем недавно работал над диссертацией, были куда более внушительными, и он слыл подающим надежды молодым ученым. Хэллем это знал. Знал это и сам Денисон – что было значительно хуже, поскольку он не трудился скрывать свое превосходство. Поэтому денисоновское «А вы-то почему знаете?» с ударением на «вы» оказалось достаточной причиной для всего, что последовало дальше. Без этой фразы Хэллем

никогда не стал бы самым великим, самым почитаемым в истории ученым – так выразился Денисон в своей беседе с Ламонтом много лет спустя.

Согласно официальной версии в то знаменательное утро Хэллем, сев за свой рабочий стол, заметил, что серые запыленные крупинки исчезли (как и пыль на внутренних стенках колбы). Теперь за стеклом тускло поблескивал чистый темно-серый металл. Естественно, он начал исследовать...

Но оставим официальную версию. Причиной всему был Денисон. Если бы он ограничился простым «нет» или только пожал плечами, Хэллем скорее всего опросил бы других своих соседей, а затем ему надоело бы заниматься таким, пусть и необъясненным, пустяком, он отставил бы колбу в сторону и не предотвратил бы трагического исхода (то ли постепенного, то ли мгновенного – это уж зависело от того, насколько задержалось бы неизбежное открытие истины), который и определил бы грядущие события. Но в любом случае тогда оседлал бы смерч и вознесся бы на нем к вершинам славы отнюдь не Хэллем.

Однако, уязвленный до глубины души денисоновским «А вы-то почему знаете?», Хэллем взвизгнул:

– Я вам докажу, что знаю!

И он закусил удила. Теперь у него была одна задача – поскорее получить анализ металла в старой колбе, одна цель – стереть ироническую улыбку с узких губ Денисона, добиться, чтобы тот перестал презрительно морщить тонкий нос.

Денисон не забыл их стычки, потому что брошенная им фраза принесла Хэллему Нобелевскую премию, а его самого ввергла в пучину безвестности.

Откуда ему было знать (впрочем, тогда он все равно не придавал бы этому ни малейшего значения), что Хэллем в полной мере обладал тем ожесточенным упрямством, в которое выливается страх посредственности уронить себя в собственных глазах, и что в данных обстоятельствах это упрямство окажется куда более действенным оружием, чем его – Денисона – блестящие способности?

Хэллем начал действовать немедленно. Он отнес металл в лабораторию масс-спектрографии. Для него, специалиста по радиохимии, это был самый естественный ход. Он знал там всех лаборантов, он работал с ними и к тому же был напорист. Напорист до такой степени, что ради своего металла заставил отложить куда более важные и первоочередные задания.

В конце концов спектрометрист объявил:

– Это не вольфрам.

Плоское сумрачное лицо Хэллема сморщилось в злорадной улыбке.

– Чудесненько. Так мы и скажем вашему хваленому Денисону. Мне нужна справка по форме...

– Погодите, доктор Хэллем. Я сказал, что это не вольфрам, но что это такое, я не знаю.

– Как так не знаете?

– Получается черт-те что! – Спектрометрист помолчал. – Этого просто не может быть. Отношение заряда к массе не лезет ни в какие ворота.

– В каком смысле?

– Чересчур велико. Не может этого быть, и все тут.

– Ну, в таком случае, – начал Хэллем, и независимо от руководивших им побуждений продолжение этой фразы открыло ему дорогу к Нобелевской премии (причем, возможно, и с некоторым на то правом), – в таком случае определите частоту его характеристического рентгеновского излучения и рассчитайте заряд. Это будет лучше, чем сидеть сложа руки и твердить, будто что-то там «невозможно».

Когда спектрометрист несколько дней спустя вошел в кабинет Хэллема, на его лице были написаны растерянность и тревога. Но Хэллем не умел замечать настроения других людей и спросил только:



– Ну как, установили вы... – Но тут в свою очередь встревожился, покосился через коридор на Денисона и поспешил закрыть свою дверь. – Значит, вы установили заряд ядра?

– Да, но таких не бывает.

– Ну, тогда, Трейси, рассчитайте еще раз.

– Да я уже десять раз проверял и перепроверял! Все равно выходит чепуха.

– Если ваши измерения точны, значит, это так. И нечего спорить с фактами.

Трейси поскреб за ухом и сказал:

– Тут поспоришь! Если я приму это за факт, значит, вы мне дали плутоний сто восемьдесят шесть.

– Плутоний сто восемьдесят шесть? Что?! Плутоний... сто восемьдесят шесть???

– Заряд – плюс девяносто четыре. Масса – сто восемьдесят шесть.

– Но это же невозможно! Нет такого изотопа. И не может быть.

– А я что вам говорю? Но такой получается результат.

– То есть в ядре не хватает пятидесяти с лишним нейтронов? Плутоний сто восемьдесят шесть получить невозможно. Нельзя сжать девяносто четыре протона в одно ядро со всего только девяносто двумя нейтронами – такое вещество не просуществует и триллионной доли секунды.

– А я что вам говорю, доктор Хэллем? – терпеливо повторил Трейси.

Тут Хэллем умолк и задумался. У него пропал вольфрам. Изотоп этого элемента – вольфрам-186 – устойчив. Ядро вольфрама-186 содержит семьдесят четыре протона и сто двенадцать нейтронов. Неужто каким-то чудом двадцать нейтронов превратились в двадцать протонов? Да нет, это невозможно.

– А как насчет радиоактивности? – спросил Хэллем, ощупью отыскивая дорогу из лабиринта.

– Я проверял, – ответил спектрометрист. – Он устойчив. Абсолютно.

– Тогда это не может быть плутоний сто восемьдесят шесть.

– Ну а я что говорю?

Хэллем сказал обессиленно:

– Ладно, давайте его сюда.

Оставшись один, он отупело уставился на колбу. Наиболее устойчивым изотопом плутония был плутоний-240, но для того, чтобы девяносто четыре протона удерживались вместе и сохраняли хотя бы относительную устойчивость, требовалось сто сорок шесть нейтронов.

Так что же теперь делать? Проблема была явно ему не по зубам, и он уже раскаивался, что вообще ввязался в эту историю. В конце-то концов, у него есть своя работа, а эта... эта загадка не имеет к нему никакого отношения. Трейси что-нибудь напутал, или масс-спектрометр начал врать, или...

Ну и что? Выбросить все это из головы, и конец!

Но на это Хэллем пойти не мог. Рано или поздно Денисон заглянет к нему и с мерзкой своей полуулыбочкой спросит про вольфрам. И что Хэллем ему ответит? «Да, это оказался не вольфрам, как я вам и говорил»? А Денисон скажет: «Ах так! Что же это такое?» Хэллем представил себе, какие насмешки посыплются на него, если он ответит: «Это плутоний сто восемьдесят шесть!» Да ни за что на свете! Он должен выяснить, что это такое. И выяснить сам. Совершенно очевидно, что доверять никому нельзя.

И вот примерно через две недели он ворвался в лабораторию к Трейси, прямо-таки задыхаясь от ярости.

– Э-эй! Вы же сказали мне, что эта штука нерадиоактивна!

– Какая штука? – с недоумением спросил Трейси.

– А та, которую вы называли плутонием сто восемьдесят шесть!

– Вот вы о чем! Ну да. Полнейшая устойчивость.

– В голове у вас полнейшая устойчивость! Если, по-вашему, это не радиоактивность, так идите в водопроводчики!

Треysi нахмурился.

– Ладно. Давайте проверим. – Через некоторое время он сказал: – Это надо же! Радиоактивна, черт! Самую чуточку – и все-таки не понимаю, как я мог проморгать в тот раз.

– Так как же я могу верить вашему бреду про плутоний сто восемьдесят шесть?

Хэллем был уже не в силах остановиться. Он не находил разгадки и воспринимал это как личное оскорбление. Тот, кто в первый раз подменил колбу или ее содержимое, либо вновь проделал свой фокус, либо изготовил неизвестный металл, специально чтобы выставить его дураком. В любом случае он готов был разнести мир вдребезги, лишь бы добраться до сути дела, – и разнес бы, если бы мог.

Упрямство и злость подстегивали его, и он пошел прямо к Г. К. Кантровичу, незаурядной научной карьере которого предстояло оборваться менее чем через год. Заручиться помощью Кантровича было нелегко, но, раз начав, он доводил дело до конца.

И уже через два дня Кантрович влетел в кабинет Хэллему вне себя от возбуждения.

– Вы руками эту штуку трогали?

– Почти нет, – ответил Хэллем.

– Ну и не трогайте. Если у вас есть еще, так ни-ни. Она испускает позитроны.

– Что-что?

– И позитронов с такой высокой энергией я еще не видел. А радиоактивность вы занизили.

– Как – занизил?

– И порядочно. Меня только одно смущает: при каждом новом измерении она оказывается чуть выше.

## Глава 6 (продолжение)

Броновский нащупал во вместительном кармане своей куртки яблоко, вытащил его и задумчиво надкусил.

– Ну хорошо, ты побывал у Хэллема, и тебя попросили выйти вон, как и следовало ожидать. Что дальше?

– Я еще не решил. Но в любом случае его жирный зад зачесется. Я ведь был у него прежде – один раз, когда только поступил сюда, когда верил, что он – великий человек. Великий человек... Да он величайший злодей в истории науки! Он ведь переписал историю Насоса – вот тут переписал (Ламонт постучал себя по лбу). Он уверовал в собственный вымысел и отстаивает его с упорством маньяка. Это карлик, у которого есть только один талант – умение внушать другим, будто он великан.

Ламонт поглядел на круглое невозмутимое лицо Броновского, которое расплылось в улыбке, и принужденно засмеялся.

– Ну, да словами делу не поможешь, и все это я тебе уже говорил.

– И не один раз, – согласился Броновский.

– Но меня просто трясет при мысли, что весь мир...

## Глава 2

Когда Хэллем взял в руки колбу с подмененным вольфрамом, Питеру Ламонту было два года. В двадцать пять лет, когда типографская краска его собственной диссертации была еще совсем свежа, он приступил к работе на Первой Насосной станции и одновременно получил место преподавателя на физическом факультете университета.

Для молодого человека это было блестящим началом. Правда, Первой станции не хватало технического глянца станций, построенных позже, но зато она была бабушкой их всех – всей цепи, опоясавшей планету за каких-нибудь два десятка лет. Такого стремительного скачка в масштабах всей планеты технический прогресс еще не знал, но ничего удивительного тут не было. Ведь речь шла о неограниченных запасах даровой и совершенно безопасной энергии, равно доступной для всех – волшебная лампа Аладдина, принадлежащая всему миру.

Ламонт пришел на Станцию, чтобы заниматься сложнейшими теоретическими проблемами, но неожиданно для себя заинтересовался поразительной историей создания Электронного Насоса и сразу столкнулся с тем фактом, что ни одна из книг, посвященных этой истории, не была написана человеком, который понимал бы его теоретические принципы (в той мере, в какой они вообще могли быть поняты) и в то же время сумел бы изложить их в доступной для широкого читателя форме. О, разумеется, сам Хэллем написал немало статей для научно-популярных журналов и передач, но они не слагались в последовательную и полностью обоснованную историю вопроса. И Ламонт возжаждал взять эту задачу на себя.

Для начала он проштудировал статьи Хэллеме, а также все опубликованные воспоминания (единственные, так сказать, официальные документы) и добрался до потрясшей мир фразы Хэллеме – Великого Прозрения, как ее нередко называли, и обязательно с большой буквы.

Ну а потом, когда Ламонт пережил свое горькое разочарование, он принялся копать глубже и вскоре усомнился, что знаменитую фразу произнес действительно Хэллем. Она была сказана на семинаре, который, собственно, и привел к созданию Электронного Насоса, но выяснилось, что узнать подробности об этом историческом семинаре чрезвычайно трудно, а получить его звукозапись и вовсе невозможно.

В конце концов Ламонт заподозрил, что странная нечеткость следа, который семинар оставил в песках времен, отнюдь не случайна. Хитроумно сопоставив ряд отрывочных сведений, он пришел к выводу, что, по-видимому, нечто очень похожее на ошеломляющее заявление Хэллеме сказал Джон Ф. К. Макфарленд, и, главное, – раньше Хэллеме.

Он отправился к Макфарленду, который вообще не фигурировал ни в одном официальном отчете и занимался теперь изучением верхних слоев атмосферы и воздействия на них солнечного ветра. Это было не самое видное положение, но у него были свои преимущества, и работа в значительной степени была связана с процессами, имеющими прямое отношение к Насосу. Макфарленд, несомненно, сумел избежать пучины безвестности, поглотившей Денисона.

Макфарленд принял Ламонта достаточно любезно и был готов беседовать с ним о чем угодно – кроме семинара. Все, что там произошло, просто изгладилось из его памяти.

Но Ламонт не отступал и перечислил факты, которые ему удалось собрать.

Макфарленд взял трубку, набил ее, тщательно проверил, плотно ли она набита, и сказал размеренно:

– Я не хочу ничего помнить, потому что это не имеет значения. Ни малейшего. Ну, предположим, я начну утверждать, будто сказал что-то. Ведь никто не поверит. Я буду выглядеть как дурак – к тому же дурак, страдающий манией величия.

– А Хэллем позаботится, чтобы вас отправили на пенсию?

– Этого я не говорю, но не думаю, чтобы подобное заявление оказалось для меня очень полезным. Да и ради чего, собственно?

– Ради исторической истины, – сказал Ламонт.

– А, чушь! Историческая истина состоит в том, что Хэллем довел дело до конца. Он прямо-таки принуждал людей браться за исследования, чуть ли не против их воли. Без него этот вольфрам в конце концов, несомненно, взорвался бы, унеся уж не знаю сколько человеческих жизней. Второго образчика могло бы и не найтись, и мы не получили бы Насоса. Так что вся честь его создания принадлежит Хэллему, хотя она ему и не принадлежит – а если это бессмысленно, то я тут ничего поделать не могу: история всегда бессмысленна.

Ламонту волей-неволей пришлось удовлетвориться этим, поскольку больше Макфарленд об Электронном Насосе и его создании говорить не пожелал.

Историческая истина!

Во всяком случае, одно, по-видимому, было неоспоримо: великая карьера «хэллемовского вольфрама» (так его теперь называли по освященному временем обычаю) началась благодаря его странной радиоактивности. Вопрос о том, вольфрам ли это и не подменили ли его, утратил всякое значение, и даже тот факт, что загадочный металл по всем характеристикам выглядел изотопом, которого не могло быть, отошел на задний план. Слишком велико было изумление перед веществом, которое демонстрировало нарастающую радиоактивность, не подходившую ни под один тип радиоактивного распада, известный в то время.

...Некоторое время спустя Кантрович пробормотал:

– Надо бы его рассредоточить. Даже небольшие куски неизбежно испарятся или взорвутся, загрязнив полгорода. А может быть, и то и другое вместе.

Поэтому вещество превратили в порошок, разделили на мельчайшие доли и смешали с порошком обычного вольфрама, а когда и обычный вольфрам стал радиоактивным, использовали графит, эффективное сечение которого гораздо ниже.

Менее чем через два месяца после того, как Хэллем заметил изменения в колбе, Кантрович прислал в «Ядерное обозрение» сообщение, подписанное и Хэллемом в качестве соавтора, об открытии плутония-186. Таким образом, доброе имя Трейси было восстановлено, но в сообщении не упомянуто – как не упоминалось оно и впредь. С этой минуты «хэллемовский вольфрам» начал свой стремительный путь к превращению в благодетеля человечества, а Денисон ощутил первые симптомы процесса, который в конце концов превратил его в пустое место.

Существование плутония-186 уже само по себе выглядело черт знает чем. Но первоначальная устойчивость, которая затем сменялась нарастающей радиоактивностью, была еще хуже.

Для рассмотрения этой проблемы был организован семинар под председательством Кантровича – обстоятельство исторически небезынтересное, поскольку с тех пор любым сколько-нибудь представительным собранием, которое было так или иначе связано с Электронным Насосом, непременно руководил Хэллем. Во всяком случае, Кантрович умер пять месяцев спустя, и, таким образом, с пути Хэллема исчез единственный человек, обладавший достаточным престижем, чтобы удерживать его в тени.

Семинар протекал на редкость бесплодно, пока Хэллем не возвестил о своем Великом Прозрении, однако по версии, созданной Ламонтом, все решилось во время перерыва на обед. Именно тогда Макфарленд, который согласно официальной версии никаких исторических фраз не произносил (хотя на семинаре, несомненно, присутствовал), задумчиво сказал: «А знаете, тут следовало бы немножко пофантазировать. Что, если...»

Он сказал это Дидерику ван Клеменсу, а ван Клеменс записал их разговор в дневнике с помощью собственной стенографической системы. Но он умер задолго до того, как Ламонт начал свое расследование. И хотя эти беглые заметки полностью убедили молодого ученого, он тем не менее отдавал себе отчет, что без дополнительного подтверждения они как официальное

свидетельство не стоят ничего. К тому же не было никаких доказательств, что Хэллем слышал рассуждения Макфарленда. Ламонт готов был побиться об заклад хоть на миллион, что Хэллем в ту минуту находился где-то рядом, но его готовность юридической силы не имела.

Да и сумей он это доказать, что тогда? Да, непомерное самолюбие Хэллема будет задето, но его положение останется неуязвимым. Ведь сам собой напрашивается аргумент, что Макфарленд просто фантазировал и вовсе не собирался выдвигать никакой гипотезы. Это Хэллем увидел проблеск истины. Это Хэллем не побоялся навлечь на себя град насмешек и смело провозгласил свою теорию. А Макфарленд вряд ли рискнул бы «немножко пофантазировать» на трибуне.

Ламонт, правда, мог бы возразить, что Макфарленду, известному ядерному физика, было что терять, а вот Хэллему, молодому радиохимику, любые публичные бредни, касающиеся ядерной физики, сошли бы с рук как неспециалисту.

Но что бы там ни было на самом деле, Хэллем, если верить официальной стенограмме, сказал следующее:

«Господа, мы зашли в тупик. А потому я намерен предложить гипотезу – не потому, что считаю ее заведомо верной, но потому лишь, что она все-таки менее нелепа, чем все, что я слышал до сих пор... Мы имеем дело с веществом, с плутонием сто восемьдесят шесть, которое согласно физическим законам нашей вселенной вообще существовать не может, а о том, чтобы оно хоть на самое короткое время обрело устойчивость, и говорить, казалось бы, нечего. Но раз оно, бесспорно, существует и было сперва устойчивым, отсюда следует, что прежде оно, хотя бы какой-то срок, должно было находиться в месте, во времени или в условиях, где физические законы вселенной действуют не так, как они действуют здесь и теперь. Попросту говоря, вещество, которое мы изучаем, возникло вовсе не в нашей вселенной, а в иной, альтернативной, параллельной вселенной – называйте ее как хотите.

Оказавшись здесь – каким образом это произошло, я объяснить не берусь, – оно некоторое время оставалось устойчивым, как я предполагаю, потому что несло в себе законы своей вселенной. Тот факт, что постепенно оно стало радиоактивным и его радиоактивность все возрастает, возможно, означает, что оно медленно проникается законами нашей вселенной, если вы позволите мне так выразиться.

Я хочу напомнить, что одновременно с появлением плутония сто восемьдесят шесть бесследно исчезло некоторое количество вольфрама, состоявшего из нескольких устойчивых изотопов, включая вольфрам сто восемьдесят шесть. Возможно, этот вольфрам переместился в параллельную вселенную. Ведь только логично предположить, что обмен массами произвести легче, чем осуществить одностороннее перемещение.

Быть может, в параллельной вселенной вольфрам сто восемьдесят шесть – такая же аномалия, как плутоний сто восемьдесят шесть у нас. Не исключено, что и он вначале окажется устойчивым, а затем постепенно будет становиться все более радиоактивным. И может послужить там источником энергии точно так же, как плутоний сто восемьдесят шесть здесь у нас».

По-видимому, аудитория онемела от удивления – во всяком случае, Хэллема как будто никто не перебивал, и он после вышеприведенной фразы сам сделал паузу, то ли переводя дух, то ли дивясь собственной наглости.

Тут кто-то из зала (предположительно Антуан-Жером Лапен, хотя в протоколе это не отражено) спросил, верно ли он понял, что, по мнению профессора Хэллема, некие разумные существа в паравселенной сознательно произвели обмен, чтобы получить источник энергии. Вот так в язык вошло выражение «паравселенная», возникшее, судя по всему, как сокращение сочетания «параллельная вселенная». По крайней мере, до этого момента оно нигде зарегистрировано не было.

После некоторого молчания Хэллем, совсем уж закусив удила, объявил:

«Да, я так считаю. И я считаю, кроме того, что практическую пользу из подобного источника энергии можно извлечь, только если наша вселенная и паравселенная будут работать вместе, каждая у своей стороны насоса, перекачивая энергию от них к нам и от нас к ним и извлекая взаимную выгоду из различий в физических законах, действующих там и здесь».

Вот это и было сутью Великого Прозрения.

Используя термин «паравселенная», Хэллем тем самым его присвоил. Кроме того, он первым употребил в таком смысле слово «насос» (которое с тех пор писалось только с большой буквы).

Официальная версия создает впечатление, будто гипотеза Хэллеме сразу завоевала признание. Но это было не так. Те немногие, кто вообще считал нужным высказаться по ее поводу, в лучшем случае отзывались о ней как о любопытном предположении. А Кантрович не сказал ничего. Это была решающая минута в карьере Хэллеме.

Сам Хэллем, конечно, не мог разработать свою гипотезу ни в теоретическом, ни в практическом плане. Тут требовалась совместная работа многих ученых. И такие ученые нашлись. Однако вначале они избегали открыто связывать свое имя с этой гипотезой, а потом было уже поздно: когда пришел успех, широкая публика твердо знала, что все сделал Хэллем, и только Хэллем. В глазах всего мира Хэллем, и только Хэллем открыл таинственное вещество, именно он разгадал его тайну и доказал истинность своего Великого Прозрения. А потому Хэллем и был Отцом Электронного Насоса.

Во многих лабораториях соблазнительно выкладывались крупинки вольфрама. В одной лаборатории из десяти происходила замена и появлялся новый запас плутония-186. Таким же способом предлагались и другие элементы, но эти приманки оставались нетронутыми... Однако где бы ни появился плутоний-186, кто бы ни доставил его в специальный научно-исследовательский центр, в глазах публики это была лишь новая порция «хэллемовского вольфрама».

И опять-таки Хэллем предложил широкой публике наиболее доходчивое объяснение теории паравселенной. К собственному удивлению (как он не преминул указать впоследствии), он обнаружил, что пишет весьма легко и популяризирует с удовольствием. Помимо всего прочего, успех обладает особой инерцией, и публика просто не желала получать информацию ни от кого другого.

В своей прославленной статье для воскресного еженедельника «Североамериканский тележурнал» Хэллем писал:

«Нам неизвестно, как и в чем законы паравселенной отличаются от наших, но, по-видимому, мы не ошибемся, предположив, что сильное ядерное взаимодействие, самая могучая из известных сил нашей вселенной, в паравселенной много действеннее – возможно, в сотни раз. А это значит, что протоны с большей легкостью удерживаются вместе вопреки собственному электростатическому отталкиванию и что ядру для достижения стабильности требуется меньше нейтронов.

Плутоний-186, устойчивый в их вселенной, содержит либо слишком много протонов, либо слишком мало нейтронов, чтобы сохранить устойчивость в условиях нашей вселенной, где ядерное взаимодействие не столь эффективно. Оказавшись в нашей вселенной, плутоний-186 начинает испускать позитроны, высвобождая при этом энергию. Каждый испущенный таким образом позитрон означает, что в ядре один протон превратился в нейтрон. В конце концов двадцать протонов ядра превращаются в нейтроны, и плутоний-186 становится вольфрамом-186, который в условиях нашей вселенной устойчив. На протяжении этого процесса из каждого ядра выделяются двадцать позитронов, которые сталкиваются с двадцатью электронами, вступают с ними во взаимодействие и аннигилируют, опять-таки высвобождая энергию. Таким образом, с каждым ядром плутония-186, посланным к нам, наша вселенная теряет двадцать электронов.



Наш же вольфрам-186, попадая в паравселенную, оказывается там неустойчивым по прямо противоположным причинам. По законам паравселенной он содержит или слишком много нейтронов, или слишком мало протонов. Ядра вольфрама-186 начинают испускать электроны, непрерывно высвобождая энергию. Каждый же испущенный электрон означает, что нейтрон превращается в протон, и в конце концов возникает плутоний-186. И с каждым ядром вольфрама-186, посланным в паравселенную, она приобретает двадцать электронов.

Такой обмен плутонием и вольфрамом между нашей вселенной и паравселенной может происходить бесконечно с выделением энергии то там, то здесь, причем заключением цикла для каждого отдельного ядра будет переход двадцати электронов из нашей вселенной к ним. И обе стороны получают энергию. Явление это можно назвать своего рода «Межвселенским Электронным Насосом».

Претворение этой идеи в жизнь и создание реального Электронного Насоса, ставшего мощнейшим источником энергии, осуществилось с ошеломляющей быстротой, и каждый новый успех укреплял престиж Хэллема.

## Глава 3

У Ламонта не было причин сомневаться в том, что этот престиж вполне заслужен. Задумав написать историю вопроса, он не без труда добился приема у Хэллема и вошел в кабинет с чувством, похожим на благоговение. (Впоследствии у него от одной мысли об этой телячьей восторженности начинали гореть уши, и он постарался изгладить ее из своей памяти, что ему отчасти и удалось.)

Хэллем держался снисходительно. За тридцать лет он вознесся на такие высоты славы, что можно было только удивляться, почему у него еще не течет кровь из носа. С возрастом он приобрел внушительность, хотя и лишенную одухотворенности. Его грузная фигура казалась представительной, а грубым чертам своего лица он научился придавать выражение умудренного спокойствия. Но он по-прежнему легко багровел, а его самовлюбленность и обидчивость стали присловьем.

Перед тем как принять Ламонта, Хэллем позаботился навести о нем справки и был во всеоружии. Он сказал:

– Вы доктор Питер Ламонт и занимаетесь паратеорией – довольно плодотворно, как я слышал. Я помню вашу диссертацию. О паратермоядерной реакции, не так ли?

– Совершенно верно, сэр.

– Ну, так напомните мне подробности. Расскажите мне о ваших выводах. Неофициально, разумеется, словно вы говорите с профаном. Ведь в конце-то концов, – он добродушно засмеялся, – в известном смысле я и есть профан. Я же всего только радиохимик, как вам, быть может, известно, и не ахти какой теоретик, разве что иной раз позволяю себе выдвинуть концепцию-другую.

В тот момент Ламонт принял все это за чистую монету. Да, возможно, слова Хэллема вовсе и не были столь оскорбительно наглыми, как казалось ему потом. Но в дальнейшем Ламонт обнаружил (или, во всяком случае, уверил себя), что они были типичны для хэллемовского метода ознакомления с сутью чужих исследований. А потом Хэллем бойко рассуждал на эти темы, как правило, – а вернее, никогда, – не утруждая себя упоминанием о том, кому он обязан своими сведениями.

Но тот, более юный Ламонт был только польщен и сразу же заговорил – словоохотливо и с тем увлечением, которое обычно охватывает человека, когда он рассказывает о своих открытиях.

– Ну конечно, я сделал совсем не так уж много, доктор Хэллем. Ведь устанавливать физические законы паравселенной – паразаконны – дело очень рискованное. У нас слишком мало исходных данных. Я начал с того немногочего, что нам известно, и не позволял себе никаких предположений, если они не опирались на уже имеющийся материал. Можно с достаточной уверенностью заключить, что при более сильном ядерном взаимодействии слияние легких ядер должно происходить с меньшими затруднениями.

– Параслияние, – поправил Хэллем.

– Совершенно верно, сэр. Задача, следовательно, сводилась к установлению частных случаев. Над математикой пришлось-таки поломать голову, но после нескольких преобразований все стало много проще. Оказывается, например, что в паравселенной у гидрида лития термоядерная реакция начнется при температуре на четыре порядка ниже, чем здесь. У нас, чтобы взорвать гидрид лития, требуются температуры атомной бомбы, а в паравселенной для этого достаточно, так сказать, простого динамитного заряда. Возможно даже, что там гидрид лития вспыхнет от спички, но это маловероятно. Мы им предлагали гидрид лития, поскольку термоядерная энергия может быть у них там чем-то вроде природного ресурса, но они его не тронули.

– Да, я знаю.

– Совершенно очевидно, что для них это слишком опасно. Ну, как использовать нитроглицерин в ракетных двигателях тоннами – только еще рискованнее.

– Отлично. А кроме того, вы ведь работаете над историей Насоса?

– Для собственного удовольствия, сэр. И если это вас не слишком затруднит, сэр, не смогли бы вы ознакомиться с рукописью, когда она будет готова? Ведь никто не знает всю подоплеку этих событий так, как ее знаете вы, сэр, и ваши замечания были бы поистине неоценимыми. Да если бы и сейчас у вас нашлось для меня несколько лишних минут...

– Попробую найти. Так что же вам хотелось бы узнать? – сказал Хэллем с улыбкой, не подозревая, что ему уже больше никогда не захочется улыбаться в присутствии Ламонта.

– Эффективный и практичный Насос, профессор Хэллем, был создан в потрясающе короткий срок, – начал Ламонт. – Едва проект Насоса...

– Проект Межвселенского Электронного Насоса, – поправил Хэллем, все еще улыбаясь.

– Да, конечно. – Ламонт кашлянул. – Я просто употребил сокращенное название. Достаточно было начать, а уж само конструирование протекало удивительно быстро и без каких-либо видимых затруднений.

– Совершенно справедливо, – сказал Хэллем с легким самодовольством. – Меня постоянно уверяют, что это моя заслуга, что все объясняется моим энергичным и прозорливым руководством, но мне не хотелось бы, чтобы вы в вашей книге излишне это подчеркивали. Мы привлекли к работе над проектом немало высокоталантливых людей, и мне было бы неприятно, если бы чрезмерное преувеличение моей роли привело к некоторому затушевыванию блестящей работы отдельных членов группы.

Ламонт досадливо мотнул головой. Все это не относилось к делу. Он сказал:

– Меня интересует другое. Я имел в виду разумные существа той вселенной. Паралюдей, как их принято называть. Ведь начали они. Мы открыли их после первой замены вольфрама на плутоний. Но они-то открыли нас первыми, причем чисто теоретически, без той подсказки, которую получили от них мы. А та железная фольга, которую они переслали...

Вот тут-то улыбка Хэллема исчезла – исчезла навсегда. Он нахмурился и сказал, повысив голос:

– Символы расшифровке не поддались. Они ни в коей мере...

– Но, сэр, ведь геометрические фигуры, несомненно, были понятны. Я ознакомился с материалами, и нет никаких сомнений, что они представляют собой своего рода чертеж Насоса. По-моему...

Хэллем гневно скрипнул креслом.

– Хватит измышлений, молодой человек. Всю работу сделали мы, а не они.

– Да... Но разве не правда, что они...

– Что «они», что?!

Ламонт наконец осознал, какую бурю чувств он вызвал, но по-прежнему не понимал ее причины. Он сказал нерешительно:

– Что они более высоко развиты, чем мы, и что, в сущности, все сделали они. Разве это не так, сэр?

Хэллем, совсем пунцовый, с усилием поднялся на ноги.

– Конечно, нет! – закричал он. – Никакой мистики в этом вопросе я не допущу. Ее и без того хватает. Послушайте, молодой человек! – Он надвинулся на ошеломленного Ламонта, который все еще продолжал растерянно сидеть, и погрозил ему толстым пальцем. – Если вы в своей истории исходите из того, что мы были марионетками, которых паралюди дергали за ниточки, то Первая станция не станет ее публиковать, да и никто ее не опубликует, если это будет зависеть от меня. Я не допущу, чтобы человечество унижали, чтобы паралюдям отводили роль богов.

Ламонт сделал единственное, что ему оставалось, – он ушел. Ушел, ничего не понимая, расстроенный тем, что, действуя из самых лучших побуждений, он почему-то вызвал только гнев и озлобление.

А затем его исторические источники начали пересыхать один за другим. Люди, которые неделю назад охотно отвечали на его вопросы, теперь ничего не помнили и не находили времени для дальнейших бесед.

Вначале Ламонт сердился и недоумевал, а потом в нем начали нарастать ожесточение и злоба. Он оценил собранный им материал с новой точки зрения и принялся требовать и настаивать там, где прежде вежливо просил. Когда они с Хэллем случайно оказывались рядом на совещаниях или официальных приемах, Хэллем хмурился, делая вид, будто не замечает Ламонта, а Ламонт в свою очередь начинал презрительно морщиться.

В результате Ламонт обнаружил, что на избранной им ниве паратеории его явно не ждет ничего хорошего, и решительно обратился ко второй своей профессии – профессии историка науки.

## Глава 6 (продолжение)

– Ох, какой идиот! – пробормотал Ламонт, все еще во власти воспоминаний о тех днях. – Видел бы ты, Майк, в какую панику он впал при одном только предположении, что инициатива принадлежала им. Теперь я просто не понимаю, как можно было с первого взгляда не догадаться, каким образом это на него подействует. Радуйся, что тебе с ним работать не приходилось.

– Я и радуюсь, – сказал Броновский скучным голосом. – Хотя и ты не ангел, если уж на то пошло.

– Не жалуйся! В твоей работе тебе никто палок в колеса не вставляет.

– Зато ею никто и не интересуется. Кому нужна моя работа, если не считать меня самого и еще пятерых человек в мире? Ну, может, шестерых. Помнишь?

Ламонт помнил.

– Ну, ладно, ладно, – сказал он.

## Глава 4

Добродушная вялость Броновского могла обмануть только совсем не знавших его людей. Он обладал на редкость острым умом и, раз взявшись за какую-нибудь задачу, терзал ее до тех пор, пока не находил решения или не оставлял от нее лишь жалкие клочья, которые явно доказывали, что она вообще решения не имеет.

Взять хотя бы этрусские надписи, принесшие ему известность. Этрусский язык был живым еще в первом веке нашей эры, но культурный шовинизм древних римлян уничтожил его с такой полнотой, что от него не осталось почти никаких следов. Буквы отдельных надписей, сохранившихся несмотря на вакханалию римской враждебности и – что еще хуже – всеобщее равнодушие, походили на греческие, что позволяло угадывать звучание слов. Но этим все и исчерпывалось. У этрусского языка словно бы не было родственников среди соседних языков, он казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским.

Это навело Броновского на мысль обратиться к другому языку, который тоже словно бы не был родственным ни одному из соседних языков, который тоже казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским, – но язык этот был вполне живым, и говорили на нем в области, расположенной не так уж далеко от тех мест, где некогда обитали этруски.

Язык басков? Броновский задумался. И положил в основу своих исследований баскский язык. Он не был тут первым, но его предшественники после тщетных попыток в конце концов отступались от этой идеи. Броновский не отступился.

Это была тяжелейшая работа, тем более что баскский язык, сам по себе на редкость трудный, оказался более чем скромным подспорьем. Но чем дольше занимался Броновский своими исследованиями, тем тверже становилась его уверенность, что между древними обитателями Северной Италии и Северной Испании, несомненно, существовала определенная культурная связь. У него набралось достаточно данных, чтобы построить убедительную гипотезу о широко заселявших Западную Европу пракельтах, язык которых явился предком и этрусского и баскского, хотя в своем дальнейшем развитии они очень разошлись. К тому же следовало учитывать, что этрусский язык остановился в своем развитии, а баскский продолжал развиваться еще две тысячи лет, испытав при этом значительное воздействие испанского. Логически вывести, какова была его структура в эпоху Древнего Рима, а затем связать полученные результаты с проблемами этрусского языка – значило поистине совершить редкостный по трудности интеллектуальный подвиг, и понятно, что филологи всего мира были поражены, когда Броновскому удалось это сделать.

Правда, содержание памятников этрусской письменности оказалось удивительно неинтересным и для истории не дало почти ничего – чуть ли не все они были ритуальными надгробными надписями. Но сам факт перевода был ошеломителен и в ходе дальнейших событий послужил для Ламонта спасительной соломинкой.

Однако далеко не вначале. Честно говоря, Ламонт только пять лет спустя после прочтения надписей впервые узнал, что когда-то существовали какие-то там этруски. Затем Броновский был приглашен выступить с докладом на ежегодных чтениях в университете, и хотя Ламонт обычно пренебрегал своим долгом преподавателя и пропускал чтения, но на лекцию Броновского он пришел.

Не потому, что осознавал важность темы или испытывал какое бы то ни было любопытство. Просто он тогда ухаживал за аспиранткой кафедры романских языков, и, не пойдя он на чтения, ему пришлось бы отправиться на музыкальный фестиваль, а эта перспектива увлекала его еще меньше. Роман этот был мимолетным, и никаких серьезных намерений у Ламонта не было, но тем не менее на лекцию он попал из-за него.

Впрочем, лекция ему скорее понравилась. Сама загадочная этрусская цивилизация возбудила у него лишь легкий отвлеченный интерес, зато идея расшифровки неизвестного языка показалась ему увлекательной. Подростком он любил решать ребусы, но потом оставил их вместе с прочими детскими забавами ради куда более сложных ребусов, которые предлагает природа, и в конце концов посвятил себя паратеории.

И на лекции Броновского он вновь пережил мальчишескую радость неторопливого извлечения смысла из того, что на первый взгляд казалось случайным набором рисунков и знаков, когда трудности делали победу только слаще. Броновский же был ребусником первой величины, и Ламонт испытывал прямо-таки наслаждение, слушая рассказ о том, как логика упорядочивала и истолковывала неведомое и бесформенное.

Но даже это тройное совпадение – появление Броновского в университете, ламонтовское детское увлечение ребусами и флирт с хорошенькой аспиранткой, водившей своих поклонников на доклады и фестивали, – не привело бы ни к чему, если бы на следующий же день Ламонт не отправился на роковую аудиенцию к Хэллему и не погубил свою карьеру – причем безвозвратно, как он довольно скоро убедился.

Едва выйдя от Хэллема, Ламонт решил поговорить с Броновским о проблеме, которая ему самому представлялась совершенно очевидной, хотя Хэллем и пришел в бешенство при одном намеке на нее. Ламонт считал необходимым нанести ответный удар, потому что был прав, потому что именно его правота навлекла на него начальственный гнев, – а для этого в первую очередь следовало доказать справедливость той идеи, которая этот гнев вызвала. Конечно, паралюди более высоко развиты! Прежде он об этом, по правде говоря, не задумывался – это как-то само собой разумелось и особого значения не имело. Но теперь вопрос приобрел решающее значение. Он должен доказать, что прав, – вбить эти доказательства в глотку Хэллема, и по возможности боком, чтобы труднее было проглотить.

Благоговение перед великим ученым уже успело угаснуть настолько, что Ламонт с наслаждением смаковал такую перспективу.

Броновский еще не уехал, и Ламонт, разыскав его, ворвался к нему чуть ли не силой.

Загнанный в угол Броновский держался с изысканной любезностью.

Ламонт нетерпеливо выслушал его вежливые фразы, назвал себя и сразу же перешел к делу.

– Доктор Броновский, – сказал он, – я страшно рад, что успел поймать вас до отъезда. Надеюсь, я сумею уговорить вас остаться тут на более длительный срок.

Броновский ответил:

– Возможно, это будет не так уж трудно. Меня приглашают к вам в университет читать курс.

– И вы думаете согласиться?

– Я еще не решил. Но это не исключено.

– Нет, вы должны согласиться. Вы сами это поймете, когда выслушаете меня. Доктор Броновский, чем, собственно, вы можете заняться теперь, когда вы уже расшифровали этрусские надписи?

– Я занимался не только этим, молодой человек. (Он был старше Ламонта на пять лет.) Я археолог, а этрусская культура не исчерпывается надписями, так же как итальянская культура доклассического периода не исчерпывается одними этрусками.

– Но ведь вряд ли в этой области есть задачи столь же увлекательные, как прочтение этруских надписей?

– Тут вы правы.

– Тогда, наверное, вы будете рады найти проблему еще более увлекательную, еще более сложную и в триллион раз более злободневную!

– Что вы имеете в виду, доктор... Ламонт, не так ли?



– У нас есть надписи, не связанные ни с какой мертвой культурой. И даже с Землей. И даже со всей вселенной. У нас есть то, что мы называем парасимволами.

– Я о них слышал. И даже видел их.

– Но в таком случае неужели вам не захотелось взяться за решение этой проблемы, доктор Броновский? Не захотелось узнать, что они означают?

– Нет, не захотелось, доктор Ламонт, поскольку никакой проблемы тут нет.

Ламонт бросил на него подозрительный взгляд.

– Вы что, их уже прочли?

Броновский покачал головой.

– Вы меня не поняли. Проблемы нет, потому что их вообще нельзя прочесть. И я этого не могу. И никто другой не сможет. Для этого нет исходной точки. Когда речь идет о земном языке, даже самом мертвом, можно с достаточной уверенностью рассчитывать, что найдется живой язык или мертвый, но уже известный, который окажется с ним в родстве, пусть самом отдаленном. И даже если такой аналогии не отыщется, можно исходить хотя бы из того, что на этом языке писали люди и их мыслительные процессы были человеческими, сходными с нашими. Это уже опора, хотя и слабенькая. Но к парасимволам ни один такой способ неприменим, то есть они слагаются в задачу, заведомо не имеющую решения. А задача без решения – не задача.

Ламонт сдерживался, чтобы не перебить его, лишь с большим трудом. Но тут его терпение иссякло:

– Вы ошибаетесь, доктор Броновский! Не подумайте, что я хочу учить вас вашей профессии, но вы ведь не знаете ряда фактов, которые установили люди моей профессии. Мы имеем дело с паралюдьми, о которых нам практически ничего не известно. Мы не знаем, как они выглядят, как они мыслят, в каком мире обитают. То есть мы не знаем почти ничего о самом главном, о самом основном. В этом отношении вы правы.

– Но соль, по-видимому, заключается в «почти», не правда ли?

Броновский как будто несколько не заинтересовался. Он достал из кармана пакетик с инжиром, распечатал его, сунул ягоду в рот и протянул пакетик Ламонту, но тот покачал головой.

– Вот именно! – объявил Ламонт. – Нам известен факт решающей важности. По развитию они стоят выше нас. Во-первых, они умеют осуществлять обмен через Межвселенское Окно, нам же достается чисто пассивная роль...

Не договорив фразы, он спросил:

– Вы что-нибудь знаете о Межвселенском Электронном Насосе?

– Достаточно, чтобы следить за вашими рассуждениями, доктор Ламонт, до тех пор, пока вы ограничиваетесь общими положениями.

Ламонт заговорил, не дослушав:

– Во-вторых, они прислали нам объяснения, как сконструировать нашу часть Насоса. Мы не смогли в них разобраться, но чертежи все-таки подсказали нам верный путь. В-третьих, они каким-то образом воспринимают нас. Во всяком случае, они, например, узнают, когда мы предлагаем им вольфрам. Они узнают его местонахождение и действуют соответственно. Мы ни на что аналогичное не способны. Есть еще частности, но и этого вполне достаточно, чтобы показать, насколько паралюди выше нас по развитию.

– Мне кажется, – заметил Броновский, – что тут вы одиноки. Полагаю, ваши коллеги с вами не согласны.

– О да! Но почему вы так решили?

– А потому, что, на мой взгляд, вы ошибаетесь.

– Факты, на которые я ссылаюсь, верны, так как же я могу ошибаться?

– Вы ведь доказываете только, что паралюди опередили нас в техническом отношении. Но как это связано с умственным развитием? Вот послушайте! – Бронковский встал, снял куртку и расположился в кресле поудобнее. Его полное мягкое тело уютно расслабилось, словно непринужденная поза помогала ему думать. – Примерно двести пятьдесят лет назад в гавань Токио вошла американская эскадра под командованием Мэтью Перри. Японцы, в ту эпоху отрезанные от остального мира, внезапно столкнулись с технической культурой, заметно превосходившей их собственную, и мудро решили, что открытое сопротивление было бы неразумным. Большая страна с давними военными традициями и многомиллионным населением оказалась бессильной перед несколькими чужеземными кораблями. Но доказывает ли это, что американцы стояли по умственному развитию выше японцев, или просто западная культура шла несколько иным путем? Разумеется, верно второе – не прошло и пятидесяти лет, как японцы освоили западную технику, а еще через полвека стали в один ряд с ведущими индустриальными странами мира, несмотря на то что примерно тогда же потерпели сокрушительное военное поражение.

Ламонт, который слушал с большим вниманием, сказал:

– Я об этом думал, доктор Бронковский, хотя и не знал про японцев – у меня слишком мало времени, чтобы подробно знакомиться с историей прошлых веков, а жаль! Но тут другое. Речь идет не только о техническом превосходстве, а и об умственном развитии.

– Но ведь это только ваши догадки. Почему вы, собственно, так думаете?

– А потому, что они прислали нам инструкции. Они очень хотели, чтобы мы установили свою часть Насоса, и искали способа, как подтолкнуть нас на это. Сами они к нам попасть не могут – ведь даже железная фольга, на которой были выбиты их инструкции (а железо и у них, и у нас самый устойчивый из элементов), даже она постепенно сделалась настолько радиоактивной, что ее стало опасно хранить целыми кусками. Но конечно, прежде чем принять необходимые меры, мы сняли точные копии.

Он умолк, чтобы перевести дух, и с досадой подумал, что говорит слишком взволнованно и настойчиво. Так ведь можно оттолкнуть, вместо того чтобы увлечь.

Бронковский смотрел на него с любопытством.

– Ну хорошо. Они прислали нам инструкции. Какой, собственно, вывод вы пытаетесь из этого сделать?

– А вот какой: по их мнению, мы способны понять, что они нам пишут. Неужели они настолько глупы, что стали бы отправлять нам послания, иногда довольно длинные, если бы считали, что мы их не поймем?.. Без их чертежей мы ничего не смогли бы сделать. Если же они были уверены, что мы поймем, значит, они считают, что существа вроде нас, с технической культурой примерно их уровня (а это они каким-то образом установить сумели – еще одно подтверждение моей точки зрения) должны находиться примерно на той же ступени умственного развития, что и они, и без труда разберутся в их символах.

– С тем же успехом это можно считать доказательством их наивности, – спокойно возразил Бронковский.

– То есть, по-вашему, они полагают, будто возможен всего один устный и письменный язык и что разумные обитатели другой вселенной говорят и пишут так же, как они сами? Согласитесь, это уж слишком.

– Предположим даже, что вы правы, – сказал Бронковский. – Но что вы, собственно, хотите от меня? Я видел парасимволы. Думаю, в мире не найдется археолога или филолога, который бы их не видел. И я не понимаю, что я мог бы сделать. Думаю, и все остальные сказали бы то же. За двадцать с лишним лет дело не сдвинулось с места.

– Потому что все эти двадцать лет никто всерьез и не пытался что-нибудь сделать, – горячо возразил Ламонт. – Управление Насосными станциями вовсе не хочет, чтобы символы были прочитаны.

– Но отчего?

– А вдруг прямое общение с паралюдьми неопровержимо докажет, что их развитие выше? Вот тогда уже не удастся скрыть, что создатели Насоса – лишь номинальные его творцы, а это непереносимо для их самомнения. И, таким образом (Ламонт старался говорить без злости, но это ему не удавалось), Хэллем утратит право называться Отцом Электронного Насоса.

– Ну хорошо, предположим, символами захотели бы заняться всерьез. Что это дало бы? Ведь хотеть еще не значит мочь.

– Можно было бы заручиться сотрудничеством паралюдей. Можно было бы написать в паравселенную. Этого даже не пытались сделать, хотя ничего невозможного тут нет. Можно было бы подложить письмо на железной фольге под крупинку вольфрама.

– Вот как? Они что же, по-прежнему высматривают вольфрам, хотя Насос уже действует?

– Нет. Но они заметят вольфрам и сообразят, что мы стараемся привлечь их внимание. И вообще можно изготовить фольгу из вольфрама и написать прямо на ней. Если они заберут наше послание и хоть что-то поймут, то ответят, используя свои новые знания. Например, составят сравнительную таблицу своих слов и наших или используют наши слова в окружении своих. Это будет обмен – они нам, мы им, они нам и так далее.

– Причем львиную долю работы выполняют они, – добавил Броновский.

– Вот именно.

Броновский покачал головой.

– Ну и что тут интересного? Меня, во всяком случае, это не прельщает.

Ламонт испепелил его гневным взглядом.

– Но почему? Или, по-вашему, вам будет мало чести? Славы вам не хватит? Вы что, такой уж специалист в вопросах славы? Да какую, собственно, славу принесли вам эти этрусские надписи, черт побери? Ну, утерли вы нос пятерым другим специалистам. Или даже шестерым. Вот для них одних во всем мире вы победитель, авторитет, и они вас ненавидят. А еще что? Ну, читаете вы лекции перед полусотней слушателей, которые на другой день уже не помнят вашей фамилии. Вас это прельщает?

– Не впадайте в мелодраму.

– Ладно, не буду. И найду кого-нибудь другого. Времени уйдет больше, но, как вы совершенно правильно заметили, львиную долю работы выполняют паралюди. В конце-то концов я и сам справлюсь.

– Вам это официально поручено?

– Нет, не поручено. Ну и что? Или это для вас еще одна причина держаться в сторонке? Блюдете академическую этику? Так нет же правил, запрещающих заниматься переводом, и почему я не имею права положить кусочек вольфрама на свой письменный стол? Я не стану сообщать о посланиях, которые могу получить взамен, и в этом смысле несколько отступлю от общепринятых норм научных исследований. Но когда ключ к переводу будет найден, кто об этом вспомнит? Согласны ли вы работать со мной, если я гарантирую вам полное отсутствие неприятностей и обещаю сохранить ваше участие в тайне? В результате вы лишитесь славы, но, может быть, свое спокойствие вы цените выше? Ну что ж. – Ламонт пожал плечами. – Если мне придется работать одному, то по крайней мере не надо будет тратить время и силы на то, чтобы оберегать чье-то спокойствие.

Он встал, собираясь уйти. Оба были рассержены и держались теперь с той сухой корректностью, которая возникает между собеседниками, настроенными враждебно, но соблюдающими внешнюю вежливость.

– Полагаю, – сказал Ламонт, – мне необязательно просить вас считать нашу беседу конфиденциальной?

Броновский тоже поднялся.

– О, разумеется, – ответил он холодно, и они учтиво пожали друг другу руки.

Ламонт решил, что на Броновского ему рассчитывать не приходится, и принялся убеждать себя, что он и сам может отлично справиться со всеми трудностями перевода.

Однако два дня спустя Броновский явился к Ламонту в лабораторию и сказал без всякого вступления:

– Я уезжаю, но в сентябре вернусь. Я принял приглашение работать здесь, так что, если это вас по-прежнему устраивает, я посмотрю тогда, может ли у меня что-нибудь получиться с переводом этих ваших символов.

Ламонт не успел даже оправиться от удивления и поблагодарить его, как Броновский сердито вышел из комнаты, словно согласиться ему было даже неприятнее, чем отказать.

Со временем они подружились. И со временем Ламонт узнал, что заставило Броновского изменить первоначальное решение. На другой день после их спора Броновский был приглашен в преподавательский клуб на званый завтрак, на котором присутствовал весь цвет университетской администрации во главе, разумеется, с ректором. Во время завтрака Броновский объявил о своем согласии работать в университете, упомянув, что необходимое официальное заявление пришлет несколько позже, и все выразили удовольствие по этому поводу.

Ректор сказал:

«Поистине, это великолепное перо в шляпу нашего университета, что в его стенах будет трудиться прославленный переводчик айтасканских надписей! Для нас это большая честь».

Конечно, никто даже не намекнул ректору на его ляпсус, и Броновский продолжал сиять улыбкой, правда, теперь несколько вымученной. После завтрака заведующий кафедрой древней истории сказал в извинение ректора, что он родом из Миннесоты и большой патриот своего штата, который знает много лучше античности, а поскольку озеро Айтаска является истоком великой Миссисипи, такая оговорка вполне естественна.

Но этот эпизод, словно подкреплявший насмешки Ламонта над его славой, несколько уязвил Броновского.

Когда Ламонт услышал эту историю, он расхохотался.

– Можешь не продолжать, – заявил он. – Я ведь и сам через это прошел. Ты сказал себе: «Черт подери, я сделаю такое, что даже этот олух вынужден будет запомнить».

– Что-то в этом роде, – согласился Броновский.

## Глава 5

Однако год работы не принес практически никаких результатов. Их послания в конце концов попали по назначению, они получили ответные послания. И – ничего.

– Ну, попробуй догадаться, – лихорадочно требовал Ламонт. – Возьми хоть с потолка. И испробуй на них.

– Я этим и занимаюсь, Пит. Что ты нервничаешь? На этрусские надписи я потратил двенадцать лет. А ты что же, думал, на это потребуется меньше времени?

– Черт возьми, Майк. Двенадцать лет – это немыслимо.

– А почему, собственно? Послушай, Пит, я ведь замечаю, что с тобой творится что-то неладное. Весь последний месяц ты был просто невозможен. Мне казалось, мы с самого начала знали, что дело быстро не пойдет и нам надо запастись терпением. Мне казалось, ты понимаешь, что у меня, кроме того, есть моя работа в университете. И ведь я уже несколько раз задавал тебе этот вопрос. Ну, так я его повторю: почему ты вдруг так заторопился?

– Потому что заторопился, – резко ответил Ламонт. – Потому что хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

– Поздравляю! – сухо сказал Бროновский. – Представь себе, и я хочу того же. Послушай, уж не собираешься ли ты скончаться во цвете лет? Твой врач, случайно, не предупредил тебя, что ты неизлечимо болен?

– Да нет же, нет! – скрипнув зубами, сказал Ламонт.

– Так что же с тобой?

– Ничего. – И Ламонт поспешно ушел.

В тот момент, когда Ламонт решил заручиться помощью Бროновского, его просто злило тупое упрямство Хэллема, не желавшего допустить даже мысли о том, что паралюди могут стоять по развитию выше землян. И, стремясь установить с ними прямую связь, он хотел только доказать, что Хэллем не прав. И ничего больше – в первые месяцы.

Но у него почти сразу же начались всяческие неприятности. Опять и опять его заявки на новое оборудование оставлялись без внимания, время, положенное ему для работы с электронной вычислительной машиной, урезывалось, на заявление о выдаче ему командировочных сумм он получил пренебрежительный отказ, а предложения, которые он вносил на межфакультетских совещаниях, даже не рассматривались.

Кризис наступил, когда освободившаяся должность старшего сотрудника, на которую все права имел Ламонт, была отдана Генри Гаррисону, много уступавшему ему и в стаже, и, главное, в способностях. Ламонт кипел от возмущения. Теперь ему уже было мало просто продемонстрировать свою правоту – он жаждал разоблачить Хэллема в глазах всего мира, сокрушить его.

Это чувство ежедневно, почти ежечасно подогревалось поведением остальных сотрудников Насосной станции. Ламонт был слишком колюч, чтобы пользоваться всеобщей любовью, но тем не менее многие ему симпатизировали.

Гаррисон же испытывал большую неловкость. Это был тихий молодой человек, старавшийся сохранять добрые отношения со всеми, и на его лице, когда он остановился в дверях ламонтовской лаборатории, было написано боязливое смущение. Он сказал:

– Привет, Пит. Найдется у вас для меня пара минут?

– Хоть десять, – хмуро сказал Ламонт, избегая его взгляда.

Гаррисон вошел и присел на краешек стула.

– Пит, – сказал он. – Я не могу отказаться от этого назначения, но хотел бы вас заверить, что я о нем не просил. Это была для меня полнейшая неожиданность.

– А кто вас просит отказываться? Мне наплевать.

– Пит, что у вас вышло с Хэллемом? Если я откажусь, назначат еще кого-нибудь, но только не вас. Чем вы допекли старика?

Этого Ламонт не вынес.

– Скажите-ка, что вы думаете о Хэллеме? Что он за человек, по-вашему? – набросился он на бедного Гаррисона.

Гаррисон совсем растерялся. Он пожевал губами и почесал нос.

– Ну-у... – сказал он и умолк.

– Великий человек? Замечательный ученый? Блистательный руководитель?

– Ну-у...

– Ладно, так я вам сам скажу. Он шарлатан! Самозванец! Правдой и неправдой урвал себе сладкий кусок, а теперь трясется, как бы его не потерять! Он знает, что я его насквозь вижу. Вот этого-то он и не может мне простить!

Гаррисон испустил неловкий смешок.

– Неужто вы пошли к нему и сказали...

– Нет, прямо я ему ничего не говорил, – угрюмо перебил Ламонт. – Но придет день, и я скажу. Только он и без этого знает. Он понимает, что меня ему провести не удалось, пусть я пока и молчу.

– Послушайте, Пит, ну для чего вам это ему показывать? Я ведь тоже не считаю, что он такой уж гений, но зачем, собственно, кричать об этом на всех перекрестках? Погладьте его по шерстке. Ведь ваша карьера в его руках.

– Да неужто? А у меня в руках его репутация. Я его разоблачу! Я покажу, что у него за душой ничего нет.

– Каким образом?

– А уж это мое дело, – пробормотал Ламонт, который в ту минуту не мог бы ответить на этот вопрос даже самому себе.

– Но это же смешно, – сказал Гаррисон. – У вас нет никаких шансов на победу. Он сотрет вас в порошок. Пусть он на самом деле не Эйнштейн и не Оппенгеймер, но мир-то считает его выше их. В глазах всех обитателей земного шара он – Отец Электронного Насоса, и, пока Насос служит ключом к райской жизни, они останутся глухи. До тех пор Хэллем неуязвим, и надо быть сумасшедшим, чтобы вступать с ним в борьбу. Какого черта, Пит! Скажите ему, что он великий человек, и проглотите пилюлю. Очень вам нужно быть вторым Денисоном!

– Вот что, Генри! – крикнул Ламонт, внезапно приходя в ярость. – Шли бы вы заниматься своими делами!

Гаррисон вскочил и вышел, не сказав больше ни слова. Ламонт обзавелся еще одним врагом или, во всяком случае, потерял еще одного друга. Но, поразмыслив, он решил, что оно того стоило, так как этот разговор натолкнул его на новую идею.

Суть всех рассуждений Гаррисона исчерпывалась одной фразой: «... пока Электронный Насос служит ключом к райской жизни... Хэллем неуязвим».

Эти слова звенели в ушах Ламонта, и он впервые задумался не о Хэллеме, а о самом Электронном Насосе.

Действительно ли Электронный Насос – ключ к райской жизни? Или, черт подери, тут есть какой-то подвох?

История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох. А как обстоит дело с Электронным Насосом?

Ламонт, специалист по паратеории, конечно, знал, что проблема «подвоха» в свое время уже возникала. Едва было установлено, что работа Электронного Насоса в конечном счете сводится к перекачке электронов из нашей вселенной в паравселенную, со всех сторон послышались вопросы: «А что произойдет, когда будут перекачаны все электроны?»

Ответ был самый успокоительный. При той интенсивности перекачки, которая полностью покроет всю практическую потребность человечества в энергии, запаса электронов во вселенной хватит по меньшей мере на триллион триллионов лет, помноженный на триллион, то есть на срок, который неизмеримо превосходит возможный период существования как вселенной, так и паравселенной, взятых вместе.

Следующее возражение было более хитрым. Перекачать все электроны нельзя даже теоретически. По мере их перекачки общий отрицательный заряд паравселенной будет увеличиваться, так же как и общий положительный заряд вселенной. С каждым годом по мере возрастания разницы перекачка электронов будет затрудняться все больше, поскольку потребуются преодолевать противодействие противоположных зарядов. Да, конечно, непосредственно перекачивались нейтральные атомы, но сопровождающее этот процесс возмущение орбитальных электронов создавало эффективный заряд, который колоссально увеличивался благодаря наступавшим вслед за этим радиоактивным превращениям.

Если бы заряды непрерывно накапливались в точках перекачки, их воздействие на перекачиваемые атомы с возмущенными электронами почти немедленно оборвало бы весь процесс, но, разумеется, тут вступала в действие диффузия. Накапливающийся заряд диффундировал в атмосферу, и его воздействие на процесс перекачки следовало рассчитывать с учетом этого момента.

В результате возрастания общего положительного заряда Земли положительно заряженный солнечный ветер начинал отклоняться от нашей планеты на все большем расстоянии, а ее магнитосфера увеличивалась. Благодаря работам Макфарленда (того самого, кому, по убеждению Ламонта, принадлежала идея, обернувшаяся Великим Прозрением) удалось показать, что определенное равновесие обеспечивалось солнечным ветром, уносившим прочь все больше и больше накапливающихся положительно заряженных частиц, которые отталкивались от земной поверхности все выше в экзосферу. С нарастанием интенсивности перекачки, со вступлением в строй очередной Насосной станции общий положительный заряд Земли слегка увеличивался и магнитосфера на несколько миль расширялась. Изменение это, однако, было незначительным, а положительно заряженные частицы уносились солнечным ветром и распределялись по внешним областям Солнечной системы.

И все-таки даже при самой стремительной диффузии заряда неизбежно должно было наступить время, когда локальная разность зарядов вселенной и паравселенной возрастет настолько, что процесс прекратится, причем на это должна была уйти лишь малая доля того времени, которое потребовалось бы на перекачку всех электронов, – примерно одна триллионная одной триллионной.

То есть это означало, что перекачка может продолжаться триллион лет. Один-единственный триллион. Но и его было достаточно. Совершенно достаточно. За триллион лет мог исчезнуть не только человек, но и сама Солнечная система. А если человек (или какой-нибудь его наследник и преемник) будет существовать и тогда, он, уж конечно, сумеет найти наилучший выход из положения. Ведь за триллион лет можно сделать очень много.

Со всем этим Ламонт должен был согласиться.

Тут он попробовал взглянуть на проблему под другим углом и припомнил рассуждения Хэллема в одной из статей, рассчитанной на самых неискушенных читателей. Он отыскал эту статью и с некоторой брезгливостью перечитал ее: прежде чем идти дальше, необходимо было проверить, что именно утверждает Хэллем.

В статье он нашел такое место:

«Из-за действия вездесущей силы тяготения мы привыкли связывать выражение «под гору» со своего рода неизбежным изменением, которое мы можем использовать для получения энергии, которую в свою очередь мы можем преобразовать в полезную работу. В далеком прошлом текущая под



гору вода вращала колеса, которые приводили в действие машины вроде насосов и турбин. Но что случится, когда вся вода стечет?

Дальнейшая работа окажется невозможной до тех пор, пока вода не будет поднята на гору – а это требует работы. И для того чтобы вернуть воду на гору, требуется больше работы, чем можно получить, пока она течет вниз. Работа всегда сопровождается потерей энергии. К счастью, тут за нас работает Солнце. Оно испаряет воду из океанов, водяные пары поднимаются высоко в атмосферу, образуют там облака, и в конце концов вода возвращается на Землю в виде осадков – дождя или снега. В результате вода проникает в почву на всех уровнях, вновь питая источники и потоки. Вот почему на Земле всегда есть вода, которая течет под гору.

Но длиться вечно это не может. Солнце способно поднимать воду вверх в виде водяных паров только потому, что оно само, если выразиться образно, имея в виду ядерную энергию, течет под гору. И течет со скоростью, неизмеримо превосходящей скорость самых стремительных земных рек, причем нам неизвестны силы, которые способны были бы вновь поднять его на гору, когда оно протечет все.

Все до единого источники энергии в нашей вселенной текут под гору, и это от нас не зависит. Все течет под гору в одном направлении, и мы способны временно заставить поток течь обратно на гору, только воспользовавшись находящимся где-нибудь поблизости более мощным устремлением вниз. Если мы хотим получить вечный источник полезной энергии, нам требуется дорога, которая в обоих направлениях уходит под гору. Таков парадокс нашей вселенной. Ведь само собой разумеется, что склон, уходящий вниз, одновременно является склоном, ведущим вверх.

Но должны ли мы ограничиваться одной лишь нашей вселенной? Поразмыслим о паравселенной. И там тоже дороги в одном направлении ведут под гору, а в противоположном – в гору. Однако эти дороги не совпадают с нашими. И возможно отправиться из паравселенной в нашу по дороге, которая ведет под гору и будет вести по-прежнему под гору, когда мы захотим пойти по ней из нашей вселенной в паравселенную, – это возможно потому, что физические законы этих вселенных различны.

Электронный Насос использует дорогу, которая ведет под гору в обоих направлениях. Электронный Насос...»

Ламонт еще раз перечитал название статьи. «Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях».

Он задумался. Конечно, он прекрасно знал и эту концепцию, и ее термодинамические следствия. Но почему бы не проверить исходные допущения? Ведь именно они составляют слабое звено любой теории. Что, если допущения, считающиеся верными по определению, в действительности неверны? Каковы будут следствия, если исходить из иных предпосылок? Противоположных?

Он начал искать вслепую, но не прошло и месяца, как к нему пришло ощущение, знакомое любому ученому, – ощущение, что каждый кусочек мозаики ложится на нужное место и досадные аномалии перестают быть аномалиями... Это ощущалась близость Истины.

Именно с этой минуты он и начал подгонять Броневского.

Затем в один прекрасный день он заявил:

– Я собираюсь еще раз поговорить с Хэллемом.

Броневский поднял брови.

– Для чего?

– Для того, чтобы он меня выгнал.

– Это в твоём духе, Пит! Если твои неприятности начинают идти на убыль, тебе словно чего-то не хватает.

– Ты не понимаешь. Необходимо, чтобы он отказался выслушать меня. Я не хочу, чтобы потом говорили, будто я действовал через его голову, будто он не знал.

– Не знал о чем? О переводе парасимволов? Так они же еще не переведены. Не забегай вперед, Пит.

– Ах, дело не в этом! – Но больше Ламонт ничего не сказал.

Хэллем не облегчил Ламонту его задачу – прошло несколько недель, прежде чем он наконец выбрал время, чтобы принять своего неуживчивого подчиненного. Но и Ламонт намеревался ничего Хэллему не спускать. Он вошел в кабинет, оцетинившись всеми невидимыми иголками. Хэллем встретил его ледяным взглядом и спросил резко:

– Что это еще за кризис вы обнаружили?

– Кое-что проявилось, сэр, – ответил Ламонт бесцветным голосом. – Благодаря вашей статье.

– А? – Хэллем сразу оживился. – Какой же это?

– «Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях». Вы программировали ее для «Мальчишек», сэр.

– Ну и что же?

– Я считаю, что Электронный Насос вовсе не ведет под гору в обоих направлениях, если мне будет дозволено воспользоваться вашей метафорой, которая, кстати, не так уж и подходит для образного описания второго закона термодинамики.

Хэллем нахмурился.

– Что, собственно, вы имеете в виду?

– Мне будет проще объяснить это, сэр, если я выведу уравнение для полей обеих вселенных, сэр, и продемонстрирую взаимодействие, которое до сих пор не рассматривалось, – на мой взгляд, совершенно напрасно.

С этими словами Ламонт направился к тиксо-табло и поспешно набрал уравнения, не переставая быстро говорить.

Он знал, что Хэллем оскорбится и выйдет из себя, – эти области математики были ему не по зубам.

И он добился своей цели. Хэллем проворчал:

– Послушайте, молодой человек, у меня сейчас нет времени заниматься дискуссиями по отдельным аспектам паратеории. Пришлите мне развернутый доклад, а пока ограничьтесь кратким изложением, если вам действительно есть что сказать.

Ламонт отошел от табло, пренебрежительно морщась.

– Ну хорошо, – сказал он. – Второй закон термодинамики описывает процесс, который неизбежно исключает крайние состояния. Вода не бежит под гору – на самом деле происходит выравнивание экстремальных значений гравитационного потенциала. Вода с такой же легкостью потечет в гору, если она окажется под давлением. Можно получить работу за счет использования двух разных температурных уровней, но в конце концов температура сравняется на какой-то промежуточной точке: нагретое тело остынет, холодное – нагреется. И остывание, и нагревание одинаково представляют собой проявление второго закона термодинамики и в соответствующих условиях одинаково возможны.

– Не учите меня основам термодинамики, молодой человек! Что вам все-таки нужно? У меня мало времени.

Ламонт сказал, не меняя выражения и словно не замечая, что его подгоняют:

– Электронный Насос работает за счет выравнивания противоположностей. В данном случае противоположностями являются физические законы двух вселенных. Условия, обеспе-

чивающие существование этих законов, какими бы эти условия ни были, поступают из одной вселенной в другую, и конечным результатом этого процесса будут две вселенные с одинаковыми физическими законами, представляющими собой нечто среднее между нынешними. Поскольку это неминуемо вызовет какие-то пока еще не ясные, но весьма значительные изменения в нашей вселенной, необходимо со всей серьезностью взвесить, не следует ли остановить Насосы и полностью и навсегда прекратить перекачивание.

Ламонт твердо рассчитывал, что именно тут Хэллем взорвется и лишит его возможности продолжать объяснения. И Хэллем не обманул его ожиданий. Он вскочил с такой стремительностью, что опрокинул кресло. Пинком отшвырнув кресло в сторону, он шагнул к Ламонту.

Тот быстро отодвинулся вместе со стулом и тоже встал.

– Идиот! – кричал Хэллем, задыхаясь от ярости. – Вы что же, думаете, никто на Станции до сих пор не подозревал об уравнивании физических законов? Вы смеее тратьте мое время на пересказ того, что я знал, когда вы пешком под стол ходили! Убирайтесь вон и в любой момент, когда вам вздумается подать заявление об уходе, считайте, что я его принял!

Ламонт покинул кабинет, добившись того, чего хотел, и тем не менее его душила ярость при одной только мысли, что Хэллем посмел так с ним обойтись.

## Глава 6 (окончание)

– Во всяком случае, – сказал Ламонт, – теперь путь расчищен. Я сделал попытку объяснить ему положение вещей. Он не захотел слушать. А потому я предпринимаю следующий шаг.

– А именно? – спросил Броновский.

– Я намерен добиться приема у сенатора Бэрта.

– У главы комиссии по техническому прогрессу и среде обитания?

– Вот именно. Значит, ты про него слышал?

– А кто про него не слышал? Но зачем, Пит? Что ты можешь сообщить ему такого, что его заинтересует? Перевод тут ни при чем, Пит. Я снова задаю тебе все тот же вопрос – что тебя тревожит?

– Как я тебе объясню? Ты не знаешь паратеории.

– А сенатор Бэрт ее знает?

– Думаю, лучше, чем ты.

Броновский укоризненно покачал пальцем.

– Пит, довольно играть в прятки. Может быть, и я знаю то, чего не знаешь ты. Мы не можем работать вместе, если будем работать друг против друга. Либо я член этого мозгового треста, состоящего из нас двоих, либо нет. Скажи мне, что тебя тревожит, и я тоже тебе кое-что скажу. Или же вообще кончим это.

Ламонт пожал плечами.

– Хорошо. Если хочешь, я объясню. И раз уж я разделался с Хэллемом, так, пожалуй, будет даже лучше. Дело в том, что Электронный Насос представляет собой передатчик физических законов. В паравселенной сильное ядерное взаимодействие в сто раз сильнее, чем у нас, из чего следует, что для нас более характерно деление ядер, а для них – слияние. Если Электронный Насос будет действовать и дальше, неминуемо наступит равновесие, когда сильное ядерное взаимодействие будет одинаковым в обеих вселенных – у нас примерно в десять раз сильнее, чем сейчас, а у них – во столько же раз слабее.

– Но ведь это же известно?

– Разумеется. Это стало очевидным чуть ли не с самого начала. Даже до Хэллема дошло. Вот почему этот сукин сын так разъярился. Я принялся объяснять ему со всеми подробностями, будто думал, что он об этом никогда даже не слышал, и он сразу начал орать.

– Но в чем все-таки суть? Если взаимодействие уравнивается, это опасно?

– Само собой. А ты как думаешь?

– Я ничего не думаю. И когда же оно уравнивается?

– При нынешней скорости перекачки – через десять в тридцатой степени лет.

– А это долго?

– Пожалуй, хватит на то, чтобы триллион триллионов вселенных вроде нашей сменили друг друга, чтобы каждая возникла, отжила свой срок, состарилась и уступила место следующей.

– О черт! Так из-за чего же тут копыа ломать?

– А из-за того, – начал Ламонт, выговаривая слова четко и неторопливо, – что цифра эта, между прочим официальная, была выведена на основании некоторых предпосылок, которые, на мой взгляд, неверны. И если исходить из других предпосылок, которые, на мой взгляд, верны, то нам уже сейчас грозят неприятности.

– Например?

– Ну, предположим, Земля за пять минут превратится в облачко газа – это, по-твоему, достаточная неприятность?

– Из-за перекачки?

– Из-за перекачки.

– А мир паралюдей? Ему тоже грозит гибель?

– Я в этом убежден. Опасность другого рода, но все-таки опасность.

Броновский вскочил и начал расхаживать по комнате. Его каштановые волосы были густыми и длинными. Он запустил в них обе пятерни.

– Если, по-твоему, паралюди так уж умны, зачем же они создали Насос? Ведь они раньше нас должны были понять, насколько он опасен.

– Мне это приходило в голову, – ответил Ламонт. – Вероятно, они наткнулись на идею перекачки совсем недавно и, подобно нам, слишком увлеклись непосредственными благами, которые она приносит, а о последствиях просто не задумались.

– Но ведь ты-то уже сейчас определил, какие будут последствия. Так что же, они тупее тебя?

– Все зависит от того, когда их заинтересуют эти последствия, да и заинтересуют ли вообще. Насос настолько полезная штука, что как-то не хочется искать в нем изъяны. Я и сам не стал бы в этом копаться, если бы не... Кстати, Майк, а о чем ты хотел мне рассказать?

Броновский остановился перед Ламонтом, посмотрел ему в глаза и сказал:

– По-моему, мы чего-то добились.

Ламонт секунду смотрел на него диким взглядом, а потом вцепился в его рукав.

– С парасимволами? Да говори же, Майк!

– Видишь ли, когда ты был у Хэллема... Как раз когда ты с ним говорил. Я в первый момент не вполне разобрался, потому что не знал, в чем дело. Но теперь...

– Так что же?

– Я все-таки не совсем уверен. Видишь ли, они передали кусок фольги с пятью знаками...

– Ну?

– ...похожими на наши буквы. Их можно прочесть.

– Что?!

– Вот погляди.

И Броновский, как заправский фокусник, извлек неизвестно откуда полоску фольги. По ней, совершенно не похожие на изящные и сложные спирали и разноцветные блески парасимволов, растянулись пять корявых, совсем детских букв: «СТРАК».

– Что это может значить, как по-твоему? – с недоумением спросил Ламонт.

– Я прикидывал и так и эдак, но, мне кажется, скорее всего это слово «страх», написанное с ошибкой.

– Так вот почему ты меня допрашивал? Ты подумал, что кто-то у них испытывает страх?

– Да, и решил, что тут может быть какая-то связь с твоим явно нервным состоянием в последние месяцы. Откровенно говоря, Пит, я терпеть не могу, когда от меня что-то старательно скрывают.

– Ну ладно тебе. Но давай не торопиться с выводами. Раз дело идет об обрывках фраз, тебе и карты в руки. Так, значит, по-твоему, паралюдям Электронный Насос начинает внушать страх?

– Вовсе не обязательно, – сказал Броновский. – Я ведь не знаю, в какой мере они способны воспринимать то, что происходит в нашей вселенной. Если они каким-то способом ощущают вольфрам, который мы им предлагаем, если они ощущают наше присутствие, то не исключено, что они ощущают и наши настроения. Может быть, они хотят нас успокоить, убедить, что причин для страха нет.

– Так почему же они так прямо и не написали – «не надо страха»?

– А потому, что настолько хорошо они нашего языка еще не знают.

– Хм-м. Ну, в таком случае Бэрту об этом рассказывать, пожалуй, рано.

– Да, не стоит. Слишком двусмысленно. И вообще, я бы на твоём месте подождал обращаться к Бэрту. Кто знает, что они пытаются сообщить!

– Нет, Майк, я ждать не могу. Я знаю, что прав, и времени у нас остается очень мало.

– Ну что ж. Только ведь, отправившись к Бэрту, ты сожжешь свои корабли. Твои коллеги тебе этого не простят. Кстати, а не поговорить ли тебе со здешними физиками? Один ты не можешь повлиять на Хэллему, но все вместе...

Ламонт замотал головой.

– Ничего не выйдет. Тут выживают только бесхребетные субъекты. И против него ни один из них открыто не пойдет. Уговорить их нажать на Хэллему? А ты не пробовал скомандовать вареным макаронам, чтобы они стали по стойке «смирно»?

Добродушное лицо Броневского стало непривычно хмурым.

– Возможно, ты и прав.

– Я знаю, что я прав, – не менее хмуро ответил Ламонт.

## Глава 7

Для того чтобы добиться приема у сенатора, потребовалось довольно много времени, и эта проволочка выводила Ламонта из себя, тем более что паралюди больше не присылали буквенных сообщений. Никаких, хотя Бронровский переслал не менее десятка полос с тщательно подобранными комбинациями парасимволов, а также вариантами «страк» и «страх».

Ламонт не мог понять, зачем ему понадобилось такое количество вариантов, но Бронровский, казалось, очень на них рассчитывал.

Однако ничего не произошло, а Бэрт наконец принял Ламонта.

Глаза сенатора на худом морщинистом лице были цепкими и пронизывающими. Он достиг весьма почтенного возраста (комиссию по техническому прогрессу и среде обитания он возглавлял с незапамятных времен). К своим обязанностям сенатор относился с величайшей серьезностью, что неоднократно доказывал делом.

Бэрт поправил старомодный галстук, давно уже превратившийся в его эмблему.

– Сынок, я могу уделить вам только полчаса, – сказал он и поднес к глазам часы на широком браслете.

Ламонта это не смутило. Он не сомневался, что заставит сенатора забыть о времени. И он не стал начинать с азов – на этот раз его цель была иной, чем во время беседы с Хэллемом. Он сказал:

– Я не стану излагать математические доказательства, сенатор. Полагаю, вам и так известно, что благодаря перекачиванию происходит смешение физических законов двух вселенных.

– Перемешивание, – спокойно заметил сенатор, – причем полное равновесие будет достигнуто через десять в тридцатой степени лет. Я верно помню эту цифру? – Изогнутые брови придавали его изрытому морщинами лицу вечно удивленный вид.

– Совершенно верно. Но цифра эта опирается на допущение, что законы, просачивающиеся от нас к ним и наоборот, распространяются во все стороны от точки проникновения со скоростью света. Это только предположение, и я считаю, что оно ошибочно.

– Почему же?

– Измерена только скорость смещения внутри плутония сто восемьдесят шесть, переданного в нашу вселенную. Вначале оно протекает чрезвычайно медленно – предположительно из-за высокой плотности вещества, – а затем начинает непрерывно убыстряться. Если добавить к плутонию менее плотное вещество, скорость смещения начнет возрастать гораздо стремительнее. Измерений такого рода было сделано немного, но если положиться на них, то в вакууме скорость проникновения должна стать равной скорости света. Иновселенским законам требуется определенное время, чтобы проникнуть в атмосферу; заметно меньше времени, чтобы достичь ее верхних слоев; и практически мгновение, чтобы оттуда умчаться по всем направлениям в космос со скоростью триста тысяч километров в секунду, тотчас разрезиваясь до полной безобидности.

Ламонт умолк, обдумывая, как перейти к дальнейшему, и сенатор сразу же уловил его нерешительность.

– Однако... – подсказал он тоном человека, берегущего свое время.

– Это очень удобное предположение, правдоподобное и не сулящее никаких неприятностей. Но что, если проникновению иновселенских законов препятствует не вещество, а самая структура нашей вселенной?

– А что такое – «самая структура»?

– Мне трудно объяснить это словами. Существует математическое выражение, которое, по-моему, тут подходит... но на словах ничего не получится. Структура вселенной – это то, что

определяет ее физические законы. Структура нашей вселенной, например, делает обязательным сохранение энергии. Именно структура паравселенной, сконструированная, так сказать, не вполне по нашему образцу, и делает их ядерное взаимодействие в сто раз более сильным, чем у нас.

– И что же?

– Если проникновение идет в самую структуру, сэр, то наличие вещества независимо от его плотности имеет лишь второстепенное значение. Скорость проникновения в вакууме больше, чем в плотном веществе, но ненамного. Скорость проникновения в космосе может быть чрезвычайно большой по сравнению с земными условиями и все же во много раз уступать скорости света.

– Из чего следует...

– Что иновселенская структура не рассеивается так быстро, как нам казалось, но, образно говоря, нагромождается в пределах Солнечной системы, где концентрация ее оказывается заметно выше, чем мы предполагали.

– Так-так, – кивнул сенатор. – И сколько же понадобится времени, чтобы космос в пределах Солнечной системы достиг равновесия? Наверное, цифра будет меньше десяти в тридцатой степени?

– Гораздо меньше, сэр. Думаю, даже меньше десяти в десятой степени. На это уйдет что-нибудь около пятидесяти миллиардов лет плюс-минус два-три миллиарда.

– Сравнительно немного, но вполне достаточно, а? И повода тревожиться сейчас у нас нет, э?

– Нет, сэр, боюсь, что есть. Непоправимое произойдет задолго до того, как будет достигнуто равновесие. Благодаря перекачиванию сильное ядерное взаимодействие в нашей вселенной с каждым мгновением становится все сильнее.

– Настолько, что это поддается измерению?

– Пожалуй, нет, сэр.

– Хотя перекачивание продолжается уже двадцать лет?

– Да, сэр.

– Так где же повод для тревоги?

– Видите ли, сэр, от степени сильного ядерного взаимодействия зависит скорость, с какой водород внутри солнечного ядра превращается в гелий. Если взаимодействие станет сильнее, хотя бы даже в самой ничтожной мере, скорость слияния ядер водорода и превращения их в ядра гелия внутри Солнца возрастет уже заметно. Равновесие же между тяготением и излучением внутри Солнца весьма хрупко, и если нарушить его в пользу излучения, как сейчас делаем мы...

– И что же?

– Это вызовет колоссальный взрыв. По законам нашей вселенной такая небольшая звезда, как наше Солнце, неспособна стать сверхновой. Но если они изменятся, это перестанет быть невозможным. И, насколько я могу судить, никакого предупреждения не будет. Когда процесс достигнет критической точки, Солнце взорвется, и через восемь минут после этого мы с вами перестанем существовать, а Земля превратится в расширяющееся газовое облако.

– И сделать ничего нельзя?

– Если равновесие уже необратимо нарушено, то ничего. Если же еще не поздно, необходимо прекратить перекачивание.

Сенатор кашлянул.

– Прежде чем согласиться принять вас, молодой человек, я навел о вас справки, так как вы были мне неизвестны. В частности, я обратился к доктору Хэллему. Вы с ним знакомы, я полагаю?



– Да, сэр. – Голос Ламонта оставался ровным, хотя уголки его губ задергались. – Я с ним очень хорошо знаком.

– Он ответил мне, – продолжал сенатор, покосившись на листок у себя под рукой, – что вы безмозглый склочник, страдающий явным помешательством, и что он самым решительным образом требует, чтобы я вас ни в коем случае не принимал.

Ламонт сказал, стараясь сохранить хладнокровие:

– Это его слова, сэр?

– Его собственные.

– Так почему же вы меня приняли, сэр?

– При обычных обстоятельствах, получи я от Хэллема такой отзыв, я бы вас не принял. Я ценю свое время, и безмозглых склочников и явных помешанных ко мне, свидетель бог, является более чем достаточно, и даже с самыми лестными рекомендациями. Но мне не понравилось хэллемовское «требую». От сенаторов не требуют, и Хэллему полезно зарубить это себе на носу.

– Так вы мне поможете, сэр?

– В чем?

– Ну... прекратить перекачку.

– Прекратить? Нет. Это невозможно.

– Но почему? – почти крикнул Ламонт. – Вы ведь глава комиссии по техническому прогрессу и среде обитания, и ваша прямая обязанность – запретить перекачку, как и всякий другой технический процесс, который наносит среде обитания непоправимый ущерб. А можно ли представить себе ущерб страшнее и непоправимее того, которым грозит перекачивание?

– О, разумеется, разумеется! При условии, что вы правы. Но ведь пока все в конечном счете сводится к тому, что вы просто исходите из иных предположений, нежели те, которые приняты всеми. Однако кто определит, какая система предположений верна, а какая нет?

– Сэр, моя гипотеза делает понятными несколько моментов, которым принятая теория объяснения не дает.

– В таком случае ваши коллеги должны были бы принять ваши поправки, а тогда вы вряд ли пришли бы ко мне, не так ли?

– Сэр, мои коллеги не хотят мне верить. Этому мешают их личные интересы.

– А вам личные интересы мешают поверить, что вы можете и ошибаться... Молодой человек, на бумаге я обладаю огромной властью, но осуществить ее могу, только если на моей стороне будет общественное мнение. Разрешите, я преподам вам урок практической политики.

Он поднес к глазам часы, откинулся в кресле и улыбнулся. Подобные предложения были не в его привычках, но утром в редакционной статье «Земных новостей» он был назван «тончайшим политиком, украшением Международного конгресса», и это все еще приятно щекотало его самолюбие.

– Большое заблуждение полагать, – начал он, – будто средний человек хочет, чтобы среда обитания оберегалась, а его жизнь ограждалась от гибели, и проникнется благодарностью к идеалисту, который будет бороться за эти цели. Он просто ищет личных удобств. Это ясно показал кризис среды обитания в двадцатом веке. Когда стало известно, что сигареты повышают вероятность заболевания раком легких, казалось бы, наиболее разумным выходом было покончить с курением вообще, однако желанным выходом стала сигарета, не вызывающая рака. Когда стало ясно, что двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу, наиболее очевидным выходом было бы вообще отказаться от таких машин, однако желанный выход лежал в создании двигателей, которые не загрязняли бы воздуха. Так вот, молодой человек, не просите, чтобы я остановил перекачивание. На него опираются экономика и благосостояние всей планеты. Лучше подскажите мне способ, как сделать перекачку безопасной для Солнца и избежать его взрыва.

– Такого способа нет, сенатор. Тут мы имеем дело с основой основ, и играть с этим нельзя. Надо прекратить перекачивание.

– Но при этом вы можете предложить только возврат к положению, которое существовало до появления Электронного Насоса?

– Иного выхода не существует.

– Тогда вам нужно представить четкие и неопровержимые доказательства своей правоты.

– Лучшим доказательством, – сказал Ламонт сухо, – был бы взрыв Солнца. Но, вероятно, вы не хотите, чтобы я зашел так далеко?

– Не вижу в этом необходимости. Почему вы не можете заручиться поддержкой Хэллема?

– Потому что он мелкий человечиска, который вдруг оказался Отцом Электронного Насоса. Так может ли он признать, что его дитя губит Землю?

– Я понимаю вас, но в глазах всего мира он действительно Отец Электронного Насоса, и только его слово могло бы иметь достаточный вес в подобном вопросе.

Ламонт покачал головой.

– Чтобы он добровольно пошел на это? Да он скорее сам взорвет хоть десять солнц.

– Ну, так заставьте его, – сказал сенатор. – У вас есть теория, но ничем не подкрепленная теория немногого стоит. Неужели нет способа проверить ее? Скорость радиоактивного распада урана, например, зависит от внутриядерных взаимодействий. Изменяется ли эта скорость так, как предсказывает ваша теория вопреки общепринятой?

Ламонт снова покачал головой.

– Обычная радиоактивность зависит от слабого ядерного взаимодействия, и, к сожалению, эксперименты не позволяют сделать окончательных выводов, а к тому времени, когда картина проявится, будет уже поздно.

– Что-нибудь еще?

– Существует еще специфическое взаимодействие пионов, то есть пи-мезонов, в котором могли бы уже и сейчас обнаружиться четкие изменения. Есть даже лучший путь: некоторые комбинации кварк – кварк в последнее время ведут себя странно, и я убежден, что мог бы доказать...

– Ну, вот видите!

– Да, но получить эти данные, сэр, можно только с помощью большого синхрофазотрона на Луне, а работа с ним расписана по минутам на много лет вперед – я выяснял это. Разве что кто-нибудь нажмет на кнопки...

– То есть я нажму?

– Да, вы, сенатор.

– Нет, сынок. Пока доктор Хэллем так вас аттестует, – узловатым пальцем сенатор постукал по лежащему перед ним листку, – я этого сделать не могу.

– Но существование мира...

– Докажите!

– Приступите Хэллема, и я докажу.

– Докажите, и я приступю Хэллема.

Ламонт глубоко вздохнул.

– Сенатор! Предположим, существует хотя бы ничтожная доля процента вероятности того, что я прав. Неужели от нее можно так просто отмахнуться? Ведь она означает все: человечество, нашу планету. Неужели ради них не стоит бороться?

– Вы хотите, чтобы я бросился в бой во имя благородной цели? Заманчиво, ничего не скажешь. Отдать жизнь свою за други своя – это красиво. Кто из порядочных политиков порой не видел в мечтах, как он всходит на костер под ангельское пение. Но, доктор Ламонт, решиться на такой шаг можно, только веря, что борьба все-таки не совсем безнадежна. Надо верить, что твое дело может победить, пусть шансы и невелики. Если я поддержу вас, я ничего не добьюсь.

Чего стоит ваше ничем не подкрепленное слово против того, что дает перекачка? Могу ли я потребовать, чтобы люди отказались от удобств и благосостояния, которые обеспечил им Насос, потому лишь, что один-единственный человек кричит «Волк!», причем остальные ученые не соглашаются с ним, а высокочтимый Хэллем называет его безмозглым идиотом? Нет, сэр, во имя заведомой неудачи я на костер не пойду.

– Ну, так помогите мне получить доказательства, – умоляюще сказал Ламонт. – Вам ведь не обязательно делать это открыто. Если вы боитесь...

– Я не боюсь, – перебил Бэрт резко. – Я трезво смотрю на вещи, и только. Доктор Ламонт, ваши полчаса давно истекли.

Ламонт посмотрел на сенатора с отчаянием, но лицо Бэрта было теперь холодным и замкнутым. Ламонт повернулся и вышел.

Сенатор Бэрт не стал приглашать следующего посетителя. Минуты шли, а он все теребил галстук и хмуро смотрел на закрытую дверь. А что, если этот одержимый прав? Что, если он вопреки очевидности все-таки прав?

Да, конечно, было бы очень приятно подставить ножку Хэллему, ткнуть его лицом в грязь и поддержать так... Но этого не произойдет. Хэллем неуязвим. У него с Хэллемом была только одна стычка, со времени которой прошло десять лет. Он тогда был прав, абсолютно прав, а Хэллем молот чепуху, и дальнейшее развитие событий показало это достаточно ясно. И тем не менее Бэрт был тогда публично отшлепан и в результате чуть было не проиграл на выборах.

Бэрт кивнул, словно отвечая на свои мысли. Ради благой цели можно рискнуть местом сенатора, но не вторичным унижением. Он позвонил, приглашая следующего посетителя, и поднялся ему навстречу со спокойной приветливой улыбкой.

## Глава 8

Если бы Ламонт еще верил, что его научная карьера все-таки не совсем кончена, он, возможно, не решился бы на свой следующий шаг. Джошуа Чен был сомнительной фигурой, и всякий, кто прибегал к его помощи, сильно компрометировал себя в глазах власти предрежащей. Чен был бунтарем-одиночкой, который, однако, заставлял прислушиваться к себе: во-первых, потому, что вкладывал в каждую свою кампанию неистовую энергию, а во-вторых, потому, что сумел превратить свою организацию в силу, с которой нельзя было не считаться, – политический талант, которому завидовало немало видных общественных деятелей.

Быстрота, с какой Электронный Насос вытеснил прежние энергетические источники, в определенной степени объяснялась именно его усилиями. Достоинства Электронного Насоса были ясны и очевидны (что может быть яснее абсолютной дешевизны и очевиднее отсутствия какого бы то ни было загрязнения окружающей среды?), и все-таки, если бы не Джошуа Чен, те, кто предпочитал атомную энергию просто в силу ее привычки, могли бы дольше сопротивляться такому новшеству.

Да, когда Чен начинал бить в свои барабаны, к нему прислушивались.

И вот он сидит перед Ламонтом – круглолицый, с широкими скулами, унаследованными от деда-китайца.

Чен спросил:

– Я хотел бы знать совершенно точно – вы выступаете только от своего имени?

– Да, – напряженно ответил Ламонт. – Хэллем меня не поддерживает. Честно говоря, Хэллем утверждает, что я сумасшедший. А вам, чтобы начать действовать, нужно одобрение Хэллема?

– Я ни в чем одобрении не нуждаюсь, – ответил Чен с вполне понятным высокомерием.

Он задумался, а затем спросил:

– Так вы говорите, что в техническом отношении паралюди нас опередили?

Ламонт стал теперь осторожнее и старательно избегал слова «развитие». «Опередили в техническом отношении» звучало не так вызывающе, а означало практически то же самое.

– Это следует хотя бы из того, – ответил он, – что они способны пересылать вещество из одной вселенной в другую, а мы этого еще не умеем.

– В таком случае, если Насос опасен, зачем они установили его у себя? И почему продолжают им пользоваться?

Ламонт стал осторожнее не только в выборе слов. Он мог бы, например, ответить, что Чен не первый задает ему этот вопрос. Но он ничем не выдал досадливого нетерпения, которое могло бы показаться обидным, и ответил спокойно:

– Вероятно, вначале они, так же как и мы, видели в Насосе только безопасный источник энергии. Но у меня есть основания считать, что теперь он внушает им такую же тревогу, как и мне.

– Но ведь это опять-таки только ваше мнение. Никаких реальных свидетельств, подкрепляющих его, нет.

– Да, пока я таких свидетельств представить еще не могу.

– А одного вашего слова мало.

– Но можем ли мы пойти на риск...

– Мало, профессор, мало! А доказательств у вас нет. Я заслужил свою репутацию не стрельбой куда попало. Нет, я каждый раз поражал цель, потому что твердо знал, что я делаю и зачем.

– Но когда я получу доказательства...

– Тогда я вас поддержу. Если ваши доказательства меня убедят, то, поверьте, ни Хэллем и никакие правительственные организации ничего не смогут сделать: общественное мнение возьмет верх. Итак, раздобудьте доказательства и приходите ко мне снова.

– К тому времени будет уже поздно.

Чен пожал плечами.

– Возможно. Но куда более вероятно другое: вы убедитесь, что ошибались и никаких доказательств попросту не существует.

– Нет, я не ошибаюсь. – Ламонт перевел дыхание и заговорил доверительно: – Мистер Чен! В нашей вселенной, возможно, существуют триллионы триллионов обитаемых планет, среди которых, конечно, можно насчитать миллиарды с высокоразвитой жизнью и технической культурой. Такое же положение скорее всего существует и в паравселенной. Отсюда неизбежно следует, что в прошлом обеих вселенных многие планеты и парапланеты вступали в обоюдный контакт и начинали перекачку. Наверное, существуют десятки, если не сотни Насосов в тех точках, где эти вселенные соприкасаются.

– Это уже чистейшие домыслы. Но если и так, то что отсюда следует?

– А то, что в десятках, если не в сотнях, случаев смещение физических законов локально достигало критической точки и солнце данной планеты взрывалось. Возможно, возникал цепной эффект: энергия сверхновой в совокупности с изменениями физических законов вызывала взрывы соседних звезд, а это, в свою очередь, приводило к дальнейшим взрывам. И со временем происходил взрыв центральной линзы галактики или одной из ее ветвей.

– Но лишь в вашем воображении, ведь так?

– Почему же? В нашей вселенной существуют сотни квазаров – крохотных тел, по размерам равных лишь нескольким солнечным системам, но излучающих свет, которого хватило бы на сто обычных больших галактик.

– Вы хотите сказать, что квазары возникают в результате перекачки?

– Это вполне вероятно. Ведь открыли их полтора века назад, но астрономы до сих пор не могут объяснить, каков источник их энергии. Во вселенной нет ничего, что хотя бы отдаленно подходило для такой роли. Разве не логично предположить...

– А паравселенная? В ней тоже полно квазаров?

– Думаю, что нет. Там другие условия. Паратеория не оставляет сомнения, что слияние ядер происходит там заметно легче, а потому в среднем их звезды должны быть намного меньше наших. Выделение энергии, равной энергии нашего Солнца, там требует значительно меньшего запаса легко сливающихся ядер водорода. Звезда такой величины, как наше Солнце, взорвалась бы там мгновенно. С проникновением наших законов в паравселенную слияние ядер водорода в ней слегка затрудняется, и паразвезды начинают понемногу остывать.

– Ну, это не страшно, – заметил Чен. – С помощью перекачки они могут получать всю необходимую им дополнительную энергию. По вашим предположениям получается, что у них все обстоит отлично.

– Только на первый взгляд, – сказал Ламонт, вдруг осознав, что до сих пор он вообще как-то не задумывался о ситуации в паравселенной. – Если у нас произойдет взрыв, перекачка прекратится. Они не смогут продолжать ее без нас. Другими словами, они останутся с остывающей звездой, но без энергии, получаемой от перекачки. В сущности, их положение даже хуже: мы-то исчезнем в мгновенной вспышке, а они будут обречены на длительную агонию.

– У вас поразительное воображение, профессор, – сказал Чен, – но для меня этого мало. Я не представляю себе, как можно отказаться от перекачки, противопоставив ей лишь силу вашего воображения. Да отдадите ли вы себе отчет в том, что такое Насос для человечества? Это ведь не только гарантия даровой, чистой и неиссякаемой энергии. Взгляните на дело шире. Насос освобождает человечество от каждодневной борьбы за существование. Впервые оно получило возможность посвятить свою коллективную мысль полному развитию заложенного

в нем потенциала. Например, несмотря на все успехи медицины за последние два с половиной века, средняя продолжительность человеческой жизни лишь немного превышает сто лет. А ведь геронтологи вновь и вновь повторяют, что теоретически бессмертие вполне достижимо – однако этой проблеме пока не уделяется достаточного внимания.

– Бессмертие! – гневно перебил Ламонт. – Это же мыльный пузырь!

– Вы, бесспорно, специалист по мыльным пузырям, профессор, – ответил Чен. – Тем не менее я намерен добиваться принятия программы исследований по проблемам бессмертия. Но она окажется неосуществимой, если перекачка будет остановлена. Тогда нам придется вернуться к дорогой энергии, к скудной энергии, к грязной энергии. И людям, населяющим Землю, вновь придется думать только о том, как бы прожить завтрашний день, а мечта о бессмертии действительно останется мыльным пузырем.

– Это-то будет в любом случае. Какое уж тут бессмертие, когда никто из нас не проживет даже и нормального срока своей жизни!

– Ну, ведь это только ваше предположение.

Ламонт взвесил все за и против и решил рискнуть:

– Мистер Чен, в начале нашего разговора я упомянул, что по некоторым причинам мне не хотелось бы касаться того, почему я считаю возможным судить о настроении паралоудей. Но, пожалуй, без этого не обойтись. Мы получили от них фольгу с символами.

– Да, я знаю. Но разве вы способны их понять?

– Мы получили слово, составленное из наших букв.

Чен сдвинул брови, потом сунул руки в карманы, вытянул короткие ноги и откинулся на спинку стула.

– Какое же?

– «Страх»! (Ламонт не счел нужным сообщать об ошибке в последней букве.)

– Страх... – повторил Чен. – И как же вы это толкуете?

– По-моему, ясно, что перекачка вызывает у них серьезные опасения.

– Ничего подобного. Что им мешает в этом случае просто остановить Насос? Я думаю, они действительно боятся – но того, что Насос остановим мы. Они уловили ваше намерение, а если мы последуем вашему совету и остановим Насос, им также придется его остановить. Вы же сами говорили, что продолжать перекачку без нас они не смогут. Эта палка ведь о двух концах. И неудивительно, если они боятся.

Ламонт ничего не ответил.

– Как видно, вам такое объяснение в голову не приходило, – сказал Чен. – Ну, в таком случае мы начнем борьбу за бессмертие. Мне кажется, подобная кампания будет более популярной.

– Популярной... – медленно повторил Ламонт. – Я ведь не знал, что для вас важно. Сколько вам лет, мистер Чен?

Чен вдруг заморгал и отвернулся. Он быстро встал и, сжимая кулаки, поспешно вышел из комнаты.

Позже Ламонт заглянул в биографический справочник. Чену было шестьдесят лет, а его отец умер в шестьдесят два года. Но какое это имело значение!

## Глава 9

– Судя по твоему лицу, тебе опять не повезло, – сказал Броновский.

Ламонт сидел в лаборатории, уставившись на носки своих ботинок, и думал о том, что они сильно поцарапаны. Он кивнул:

– Да.

– И великий Чен тоже не стал тебя слушать?

– Он ничего не хочет делать. Ему нужны доказательства. Они все требуют доказательств и старательно опровергают любой довод. На самом же деле они попросту хотят сохранить свой проклятый Насос, или свою репутацию, или свое место в истории. А Чен хочет бессмертия.

– А ты чего хочешь, Пит? – мягко спросил Броновский.

– Избавить человечество от грозящей ему опасности, – сказал Ламонт, но, заметив усмешку в глазах Броновского, добавил: – Ты мне не веришь?

– О, верю, верю! Но чего ты хочешь на самом деле?

– Ну ладно, черт побери! – Ламонт с силой хлопнул ладонью по столу. – Я хочу быть правым, а это у меня уже есть, потому что я прав!

– Ты уверен?

– Уверен! И я ни о чем не беспокоюсь, потому что добьюсь своего. Знаешь, когда я вышел от Чена, то чуть было не презирал себя.

– Ты – себя?

– Да, себя. И за дело. Мне все время в голову лезла мысль: Хэллем преграждает мне все пути. До тех пор пока Хэллем против меня, у них у всех есть предлог не верить мне. Пока Хэллем стоит передо мной, как каменная стена, я обречен на неудачу. Так почему же я не попробовал прибегнуть к уловкам? Почему не подмазался к нему? Почему не попытался действовать через него, вместо того чтобы доводить его до белого каления?

– И ты думаешь, у тебя что-нибудь получилось бы?

– Наверняка нет. Но от отчаяния чего не придет в голову! Например, я мог бы отправиться на Луну. Бесспорно, когда я только-только раздражил Хэллему, о гибели Земли и речи не было, но ведь потом-то я сознательно испортил все еще больше. Впрочем, ты совершенно верно заметил, что от Насоса он все равно не отказался бы, как бы я его ни улещал.

– Но сейчас ты, по-видимому, себя больше не презираешь?

– Нет. Потому что мой разговор с Ченом не прошел впустую. Я понял, что напрасно теряю время.

– Да уж!

– Я не о том. Выход из положения вовсе не обязательно искать на Земле. Я сказал Чену, что наше Солнце может взорваться, а парасолнце уцелеет, но паралюдям все равно придется плохо, так как их часть Насоса без нашей работать не будет. Без нас они не смогут продолжать перекачку, понимаешь?

– А что же тут непонятного?

– Но ведь наоборот-то выходит то же самое: мы не сможем продолжать перекачку без них. А раз так, не все ли равно, остановим мы Насос или нет? Пусть это сделают паралюди.

– А если не сделают?

– Но они же передали нам: «С-Т-Р-А-К». А это значит, что они боятся. По мнению Чена, они боятся нас – боятся, что мы остановим Насос. Но я с ним не согласен. Они испытывают совсем другой страх. Я ничего Чену не возразил – я просто промолчал, и он решил, что мне нечего сказать. Но он ошибся. Я только задумался о том, как нам убедить паралюдей, чтобы они остановили Насос. Мы должны этого добиться. Я больше ни на что не рассчитываю. И теперь все дело за тобой, Майк. Ты – надежда мира. Втолкуй им это. Как хочешь, но втолкуй.

Броновский засмеялся детски радостным смехом.

– Пит, – сказал он, – ты гений!

– А-а! Заметил наконец!

– Нет, я серьезно. Ты отгадываешь то, что я собираюсь сказать, прежде чем я успеваю открыть рот. Я посылал полоску за полоской, располагая их символы в том порядке, который, по-моему, означает «Насос», и ставил рядом наше слово. И я использовал все клочки сведений, которые мы собрали за это время, чтобы расположить их символы в порядке, означающем неодобрение, и опять-таки поставил рядом соответствующее земное слово. Конечно, я не знал, действительно ли я передаю что-то осмысленное или попадаю пальцем в небо, а ответа никакого не приходило, и я уже решил, что дело безнадежно.

– А мне ты даже не считал нужным рассказывать, чего добиваешься?

– Ну, это уж моя часть работы. А сам-то ты мне сразу объяснил паратеорию?

– Но что дальше?

– Вчера я послал всего два наших слова: «НАСОС ПЛОХО».

– Ну и?..

– Ну и сегодня утром я наконец получил ответ. Очень простой и недвусмысленный. «ДА НАСОС ПЛОХО ПЛОХО ПЛОХО». Вот посмотри.

Ламонт взял фольгу дрожащими пальцами.

– Тут ведь не может быть ошибки? Это же подтверждение?

– Да, конечно. Кому ты это покажешь?

– Никому, – твердо сказал Ламонт. – Я ничего больше доказывать не буду. Они мне заявят, что я подделал фольгу, так какой смысл терять время? Пусть паралюди остановят Насос, и он остановится у нас. Только своими усилиями мы его вновь запустить не сможем. И тогда вся Станция примется изо всех сил доказывать, что я был прав, что Насос действительно опасен.

– Это еще откуда следует?

– А что им останется делать, когда разъяренные толпы начнут требовать, чтобы Насос снова был запущен, а они его запустить не смогут? Ты со мной согласен?

– Не берусь судить. Меня беспокоит другое.

– А именно?

– Если паралюди убеждены, что Насос опасен, почему они его уже не остановили? Я недавно воспользовался удобным случаем и проверил. Насос работает как ни в чем не бывало.

Ламонт нахмурился.

– Ну, скажем, односторонняя остановка их не устраивает. Они считают нас равноправными партнерами и хотят, чтобы мы сделали это по взаимному согласию. Ведь так может быть, верно?

– Конечно. Но ведь, с другой стороны, систему нашего общения никак нельзя назвать совершенной. Не исключено, что они попросту не уловили смысла слова «ПЛОХО». А вдруг я совершенно исказил их символы и они решили, что «ПЛОХО» по-нашему значит «ХОРОШО»?

– Этого не может быть!

– Ну что ж, надейся. Но ведь надежда еще никогда не спасала.

– Майк, ты продолжай посылать. Используй как можно больше слов, которыми пользуются они. Тут ты мастер. В конце концов они узнают необходимые слова и ответят яснее, а тогда мы объясним, что просим их остановить Насос.

– Мы не уполномочены на такие заявления.

– Конечно, но они-то этого не знают. А нас человечество в конце концов признает героями.

– Предварительно свернув нам шеи?



– Тем более... Дальнейшее зависит от тебя, Майк, и я уверен, что все решится в ближайшие дни.

## Глава 10

Но ничто не решилось. Миновали две недели – и ни одной полоски. Ожидание становилось невыносимым.

Особенно тяжело оно сказалось на Броновском. От его недавнего радостного возбуждения не осталось и следа. И в этот день он вошел в лабораторию Ламонта, угрюмо нахмурившись.

Некоторое время они смотрели друг на друга. Наконец Броновский сказал:

– По всему университету только и разговоров, что тебя выгоняют...

Подбородок Ламонта покрывала двухдневная щетина. Лаборатория выглядела какой-то запыленной, словно бы уже покинутой. Ламонт пожал плечами.

– Ну и что? Это меня не трогает. Неприятно другое: «Физический бюллетень» не взял мою статью.

– Но ты ведь этого и ждал?

– Да, но я думал, что они объяснят почему. Укажут на ошибки, на неточности, на неверные выводы. Чтобы я мог возразить.

– А они обошлись без объяснений?

– Ни единого слова. По мнению их рецензентов, статья для опубликования не подходит – кавычки закрыть. Они просто отмахнулись от нее... Перед такой всеобщей глупостью как-то теряешься. Если бы человечество обрекало себя на катастрофу по бесшабашности или порочности, честное слово, мне было бы легче. Но очень уж унижительно и обидно погибать из-за чьего-то тупого упрямства и глупости. Какой смысл быть мыслящими существами, если мы должны кончить вот так?

– Из-за глупости, – пробормотал Броновский.

– А как еще ты это назовешь? Например, от меня сейчас требуют официальных объяснений: мне полагается представить основания, почему меня не следует увольнять за величайшее из преступлений – за то, что я прав.

– Откуда-то стало известно, что ты побывал у Чена?

– Да! – Ламонт устало потер пальцами веки. – По-видимому, я настолько сильно наступил ему на ногу, что он не поленился пожаловаться Хэллему. И теперь я обвиняюсь в том, что пытался сорвать работу Насоса, сея панику с помощью бездоказательных и ложных утверждений, а это противоречит профессиональной этике и делает мое дальнейшее пребывание на Станции невозможным.

– Все это они могут обосновать достаточно веско.

– Вероятно. Но это неважно.

– Что ты намерен предпринять?

– А ничего! – отрезал Ламонт. – Пусть делают что хотят. Я рассчитываю на бюрократическую волокиту. Официальное оформление подобной истории займет недели, а то и месяцы, а ты пока работай. Паралюди успеют нам ответить.

Броновский болезненно поморщился.

– А если нет? Пит, может, тебе вернуться к той идее...

Ламонт встрепнулся.

– К какой идее?

– Объяви, что ты ошибся. Покайся. Бей себя в грудь. Уступи.

– Ни за что! Черт возьми, Майк! Ведь мы ведем игру, в которой ставка – весь мир, каждое живое существо!

– Да, но насколько это касается тебя лично? Ты не женат. Детей у тебя нет. Я знаю, что твой отец умер. Я ни разу не слышал, чтобы ты упомянул про свою мать или каких-нибудь

родственников. По-моему, ты ни к кому не испытываешь любви или горячей привязанности. Ну, так брось все это и живи спокойно.

– А ты?

– И я. С женой я развелся, детей у меня нет, а милые отношения с милой женщиной будут продолжаться, пока не оборвутся. Живи, пока можешь! Радуйся жизни!

– А завтра как?

– А это уж не наша забота. Во всяком случае, смерть будет мгновенной.

– Я не способен принять подобную философию... Майк! Майк, да что это с тобой? Ты просто не хочешь сказать прямо, что у нас ничего не выйдет? Что ты не рассчитываешь устанавить связь с паралюдми?

Броновский отвел глаза.

– Видишь ли, Пит, – сказал он, – я получил ответ. Вчера вечером. Я решил подождать и подумать, но думать, собственно, не о чем... Вот читай.

Ламонт взял фольгу, ошеломленно посмотрел на нее и начал читать. Знаков препинания не было.

«НАСОС НЕ ОСТАНОВИТЬ НЕ ОСТАНОВИТЬ МЫ НЕ ОСТАНОВИТЬ НАСОС МЫ НЕ СЛЫШАТЬ ОПАСНОСТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ ОСТАНОВИТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ЧТОБЫ МЫ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ ОСТАНОВИТЬ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ НАСОС».

– Черт побери, – пробормотал Броновский. – Ведь это вопль отчаяния!

Ламонт смотрел на фольгу и молчал.

– Насколько я могу понять, – начал Броновский, – кто-то у них там похож на тебя. Параламонт, так сказать. Он тоже не может заставить своего пара-Хэллема остановить перекачку. И пока мы умоляем их спасти нас, они умоляют нас спасти их.

– Но если показать это... – глухо произнес Ламонт.

– Они скажут, что ты лжешь, что ты подделал эту фольгу, чтобы оправдать твой порожденный психозом кошмар.

– Про меня-то они скажут, но ведь про тебя этого сказать нельзя. Ты поддержишь меня, Майк. Ты официально заявишь, что получил эту фольгу, и расскажешь, при каких обстоятельствах.

Броновский густо покраснел.

– А что пользы? Они ответят, что в паравселенной отыскался маньяк вроде тебя и что двое сумасшедших нашли общий язык. Они скажут, что это сообщение свидетельствует лишь об одном: те, кто в паравселенной представляют ответственное руководство, убеждены в отсутствии какой бы то ни было опасности.

– Майк, но будем же драться!

– А что пользы, Пит? Ты сам сказал – глупость. Может быть, паралюди опередили нас в техническом отношении, может быть, они даже, как ты утверждаешь, стоят выше нас по развитию, но ведь ясно, что глупы они не меньше нашего, и на этом все кончается. Тут я согласен с Шиллером.

– С кем?

– С Шиллером. Был такой немецкий драматург лет триста назад. В пьесе о Жанне д'Арк он сказал примерно следующее: «Против глупости сами боги бороться бессильны». А я не бог и тем более не стану бороться. Брось, Пит, и займись чем-нибудь другим. Возможно, на наш век времени хватит, а если нет, так ведь изменить все равно ничего нельзя. Извини, Пит. Ты отлично дрался, но ты потерпел поражение, и я больше в этом не участвую.

Он вышел, и Ламонт остался один. Он сидел неподвижно, только его пальцы бесцельно барабанили и барабанили по столу. Где-то в глубинах Солнца протоны соединялись чуть более

бурно, и с каждым мгновением это «чуть» увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось, приближая тот миг, когда хрупкое равновесие нарушится...

– И никто на Земле не успеет понять, что я был прав! – крикнул Ламонт и замигал, стараясь удержать слезы.

## Часть II ...Сами боги...

### Глава 1а

Дуа легко ускользнула от остальных. Она всегда опасалась, что это вызовет неприятности, но почему-то все обходилось благополучно. Более или менее.

А с другой стороны – что тут, собственно, такого? Ун, правда, возражал против этого со своим обычным высокомерием. «Не броди, – говорил он. – Ты же знаешь, как это раздражает Тритта». О своем раздражении он не упоминал – рационалы не сердятся из-за пустяков. И тем не менее он опекал Тритта почти так же заботливо, как Тритт опекал детей.

Правда, если она настаивает, Ун всегда позволяет ей делать то, что она хочет, и даже вступает за нее перед Триттом. Иногда он даже не скрывает, что гордится ее способностями, ее независимостью... «Как левник он вовсе не так уж плох», – подумала она с рассеянной нежностью.

Ладить с Триттом труднее, и он очень хмуро смотрит на нее, когда она бывает... ну, когда она бывает такой, какой ей хочется. Впрочем, правники иначе не могут. Для нее-то он, конечно, правник, но ведь он еще и пестун, а потому дети заслоняют от него все остальное. Это и к лучшему – в случае неприятностей всегда можно рассчитывать, что кто-нибудь из детей отвлечет его внимание.

Не то чтобы Дуа очень считалась с Триттом. Если бы не синтез, она бы, наверное, вообще его игнорировала. Другое дело Ун. Он сразу показался ей удивительно интересным: от одного его присутствия ее очертания теряли четкость и начинали мерцать. И то, что он рационал, делало его только еще интереснее. Она не понимала почему. Но это тоже было одной из ее странностей. Ну, она уже привыкла к своим странностям... почти привыкла.

Дуа вздохнула.

Когда она была ребенком и еще ощущала себя законченной личностью, самостоятельным существом, а не частью триады, она осознавала эти странности гораздо острее. Потому что их подчеркивали другие. Даже такая мелочь, как выход на поверхность под вечер...

Как ей нравилась поверхность в вечерние часы! Остальные эмоционали пугались холода, сгущающихся теней – они коалесцировали, едва она начинала описывать свои впечатления. Сами они с удовольствием выходили в теплое время дня, расстилались и ели, но оттого-то она и не любила поверхность в дневные часы: их болтовня наводила на нее скуку.

Конечно, не есть она не могла, но насколько приятнее питаться по вечерам, когда еды, правда, очень мало, зато кругом все тускло-багровое и она совсем-совсем одна! По правде сказать, в разговорах с другими эмоционалями она изображала поверхность куда более холодной и унылой, чем на самом деле, – просто чтобы посмотреть, как они, пытаясь вообразить подобный холод, становятся жесткими по краям – в той мере, конечно, в какой молодые эмоционали вообще способны обрести жесткость. Потом они начинали шептаться о ней, смеялись... и оставляли ее в одиночестве.

Маленькое солнце уже почти достигло горизонта и тонуло в таинственной алости, которую, кроме нее, никому было видеть. Она разостлась, утолщилась по спинно-вентральной оси и принялась поглощать слабую жиденькую теплоту, неторопливо ее усваивая, смакуя чуть кисловатый, почти неуловимый вкус длинных волн. (Ни одной из знакомых ей эмоционалей этот вкус не нравился. Но не могла же она объяснить, что для нее он неразрывно связан со свободой – со свободой быть одной, без других.)

Даже сейчас пустынность, знобящий холод и глубокие багровые тона словно возвратили ее в дни детства, когда она еще не стала частью триады. И вдруг Дуа с поразительной ясностью словно вновь увидела перед собой своего собственного пестуна, который неуклюже выбирался на поверхность, мучимый вечными опасениями, что она причинит себе какой-нибудь вред.

С ней он был особенно заботлив – ведь пестуны всегда лелеют крошку-серединку даже больше, чем крошку-левого и крошку-правого. Ее это раздражало, и она мечтала о том дне, когда он ее покинет. Ведь со временем все пестуны обязательно исчезали – и как же она тосковала без него, когда этот день настал!

Он вышел на поверхность предупредить ее – бережно и осторожно, хотя пестунам очень трудно облекать чувства в слова. В тот день она убежала от него – не потому, что хотела его подразнить, и не потому, что догадалась, о чем он хочет ее предупредить, а просто ей было весело. Днем она отыскивала удивительно удобное местечко далеко от других эмоционалей, наелась до отвала и испытала то щекотное чувство, которое требует разрядки в движениях и действиях. Она ползала по камням, запуская свои края в их поверхность. Она знала, что в ее возрасте делать это стыдно, что так играют только малыши, но зато какое приятное ощущение – бодрящее и в то же время баюкающее!

И тут наконец пестун ее нашел. Он долго стоял возле нее и молчал, а глаза у него делались все меньше и плотнее, точно он хотел задержать каждый лучик отражающегося от нее света, вобрать в них ее образ и сохранить его навсегда.

Сначала она тоже смотрела на него – в смущении, думая, что он заметил, как она забиралась в камни, и что ему стыдно за ее поведение. Но она не уловила излучения стыда и в конце концов спросила виновато:

«Ну что я сделала, папочка?»

«Дуа, время настало. Я ждал этого. И ты, наверное, тоже».

«Какое время?»

Она знала, но упрямо не хотела знать. Ведь если верить, что ничего нет, то, может быть, ничего и не будет. (Она до сих пор не избавилась от этой привычки. Ун говорил, что все эмоционали такие – снисходительным голосом рационала, сознающего свое превосходство.)

Пестун сказал:

«Я должен перейти. И больше меня с вами не будет».

А потом он только смотрел на нее, и она тоже молчала.

И еще он сказал:

«Объясни остальным».

«Зачем?»

Дуа сердито отвернулась, ее очертания расплылись, стали смутными, словно она старалась разредиться. Да она и старалась разредиться – совсем. Только, конечно, у нее ничего не получилось. Наконец ей стало больно, боль сменилась немотой, и она опять сконцентрировалась. А пестун против обыкновения не побранил ее и не сказал даже, что неприлично так растягиваться – вдруг кто-нибудь увидит?

Она крикнула:

«Им ведь все равно!» – и тут же ощутила, что пестуну больно. Он же по-прежнему называл их «крошка-левый» и «крошка-правый», хотя крошка-левый думал теперь только о занятиях, а крошке-правому не терпелось войти в триаду – ничем другим он больше не интересовался. Из них троих только она, Дуа, еще чувствовала... Но ведь она была младшей, как и все эмоционали, и у эмоционалей все происходило не так.

Пестун сказал только:

«Ты им все-таки объясни».

И они продолжали смотреть друг на друга.

Ей не хотелось ничего им объяснять. Они стали почти чужими. Не то что в раннем детстве. Тогда они и сами с трудом разбирались, кто из них кто – левый брат, правый брат и сестра-серединка. Они были еще прозрачными и разреженными – постоянно перепутывались, проползали друг сквозь друга и прятались в стенах. А взрослые и не думали их бранить.

Но потом братья стали плотными, серьезными и больше не играли с ней. А когда она жаловалась пестуну, он ласково отвечал: «Ты уже большая, Дуа, и не должна теперь разреживаться».

Она не хотела слушать, но левый брат отодвигался и говорил: «Не приставай. Мне некогда с тобой возиться». А правый брат теперь все время оставался совсем жестким и стал хмурым и молчаливым. Тогда она не могла понять, что с ними случилось, а пестун не умел объяснить. Он только повторял время от времени точно урок, который когда-то выучил наизусть: «Левые – рационалы, Дуа, правые – пестуны. Они взрослеют каждый по-своему, своим путем».

Но ей их пути не нравились. Они уже перестали быть детьми, а ее детство еще не кончилось, и она начала гулять вместе с другими эмоционалями. Они все одинаково жаловались на своих братьев. Все одинаково болтали о будущем вступлении в триаду. Все расстилались на солнце и ели. И с каждым днем сходство между ними росло, и каждый день они говорили одно и то же.

Они ей опротивели, и она начала искать одиночества, а они в отместку прозвали ее «олевелая эм». (С тех пор как она в последний раз слышала эту дразнилку, прошло уже много времени, но стоило ей вспомнить, и она словно вновь слышала их жиденькие пронзительные голоски, твердившие: «Олевелая эм, олевелая эм!» Они дразнили ее с тупым упоением, потому что знали, как это ей неприятно.)

Но ее пестун оставался с ней прежним, хотя, наверное, замечал, что все над ней смеются. И неуклюже старался оберегать ее от остальных. Он даже иногда выходил следом за ней на поверхность, хотя и чувствовал себя там очень тягостно. Но ему нужно было удостовериться, что с ней ничего не случилось.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.